
ОГОНЁК
№ 42 ОКТЯБРЬ 1966
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

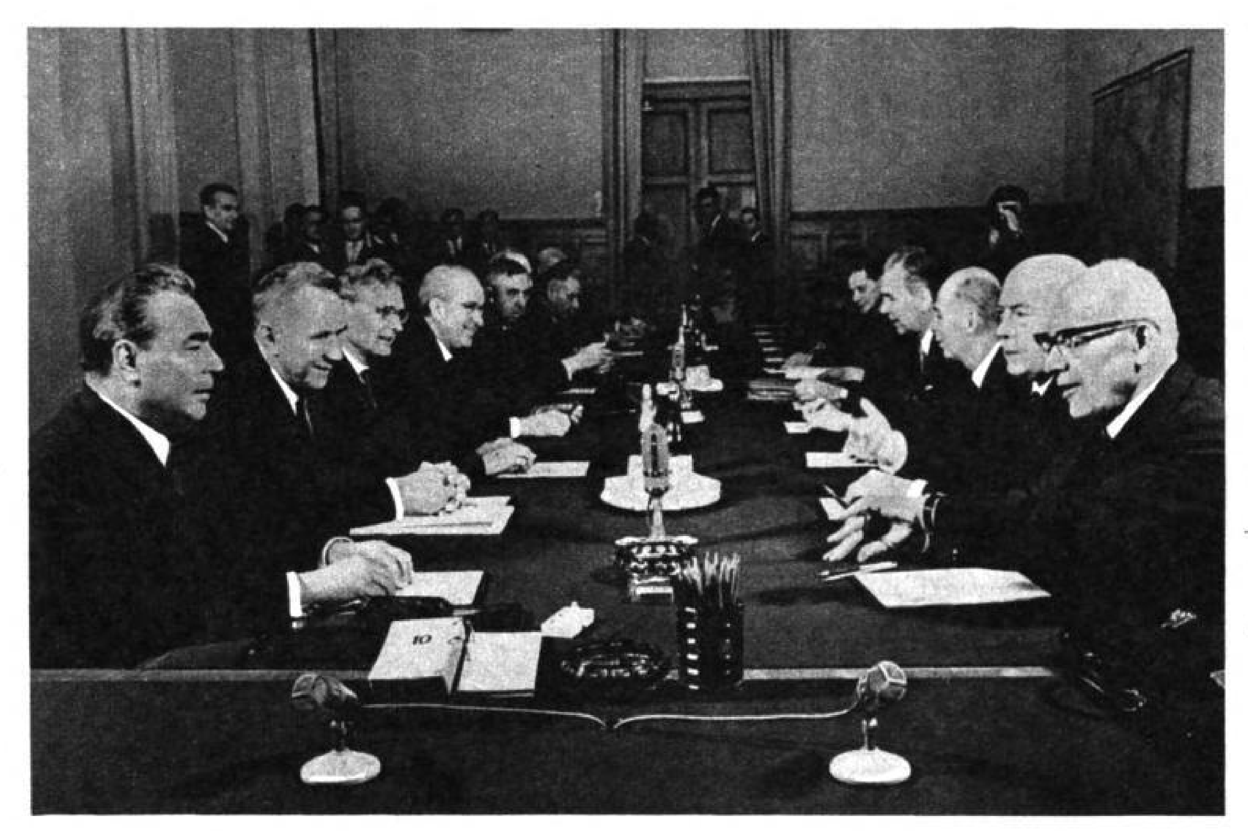


ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 42 (2051)
16 ОКТЯБРЯ 1966
44-й год издания

МОСКО


ВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ 100 ЛЕТ



КРЕПНЕТ ЕДИНСТВО

По приглашению Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР в Советский Союз с официальным визитом прибыла партийно-правительственная делегация Польской Народной Республики, возглавляемая Первым секретарем Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии В. Гомулкой и Председателем Совета Министров ПНР Ю. Циранкевичем.

На Внуковском аэродроме руководителей братской страны встречали Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин и другие официальные лица.

Товарищи В. Гомулка и Ю. Циранкевич нанесли в Кремле визит Л. И. Брежневу и А. Н. Косыгину.

10 октября в Кремле состоялись переговоры руководителей Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства с партийно-правительственной делегацией Польской Народной Республики. Во время переговоров, проходивших в обстановке братской дружбы и полного взаимопонимания, имел место широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления и расширения всестороннего сотрудничества между Советским Союзом и Польской Народной Республикой.

На снимке: советско-польские переговоры в Кремле.

Фото А. Устинова.

НОВАЯ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Кремлевский Дворец съездов. Здесь, на торжественном собрании, посвященном Всесоюзному Дню работников сельского хозяйства, родилась новая прекрасная традиция: всенародно чествовать тружеников деревни. Сюда пришли трудящиеся столицы, партийные и советские работники, труженики полей из многих областей Российской Федерации, из других союзных республик, руководители партии и правительства.

Славно потрудились в этом году хлеборобы, и земля одарила их богатым урожаем. Значительно увеличилось производство мяса и молока. В чем причина успехов. Природа ли была милостива, год выдался удачным?

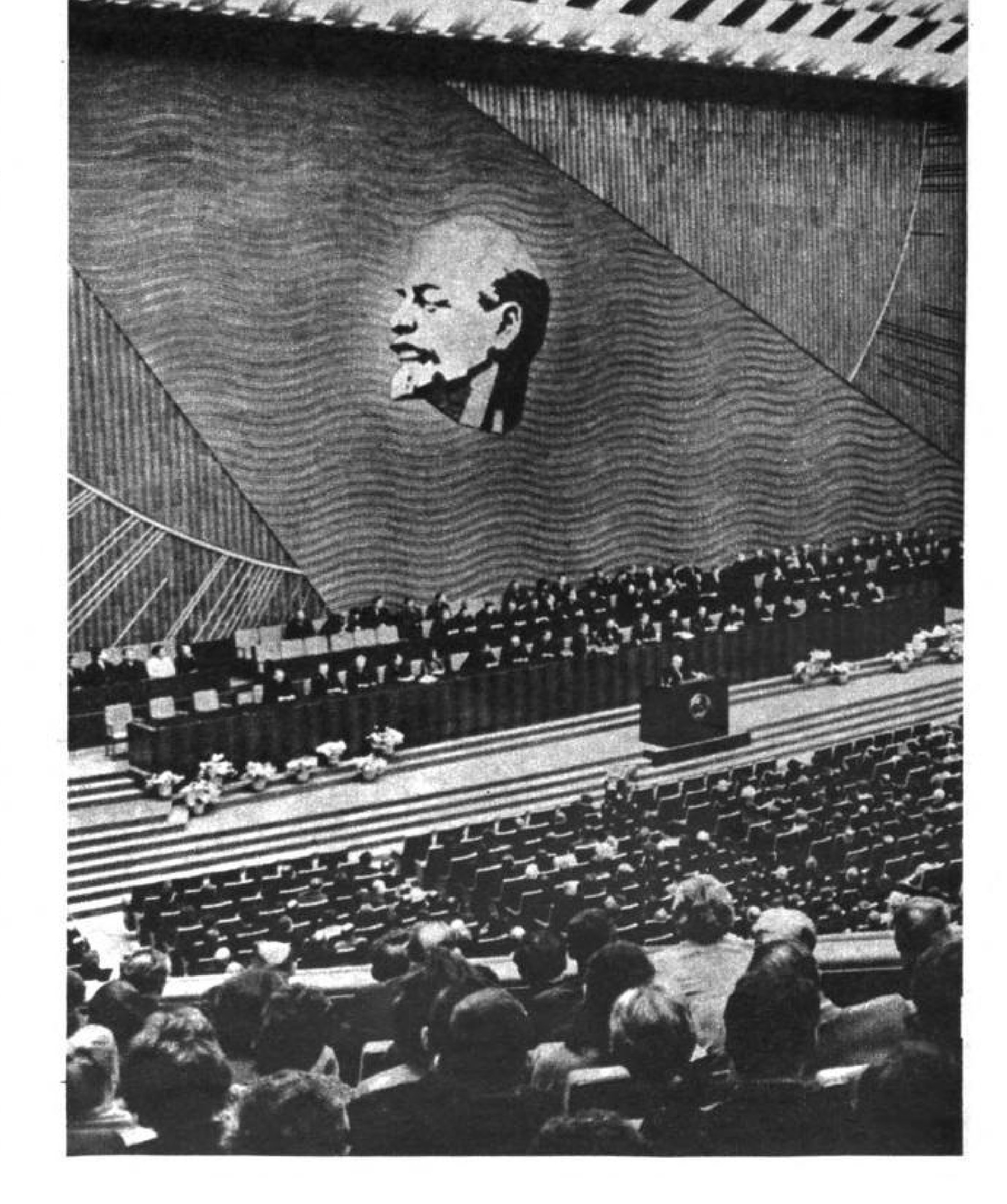
Константин Алексеевич Горбатенко, председатель колхоза «Червонный хлебороб», Донецкой области:

— Конечно, лето у нас было лучше, чем в прошлом году. Но ведь и раньше были неплохие годы, а мы таких урожаев никогда не собирали. Вот я и полагаю: главное — то, что земля почувствовала настоящие хозяйские руки, заботу о себе. Люди стали работать старательнее.

И тут без ошибки можно сказать: это результат решений мартовского Пленума ЦК КПСС. Пленум правильно, не преувеличивая и не приуменьшая, оценил наши силы и возможности, указал, что в подъеме хозяйства, играет значительную роль личная заинтересованность колхозника. В нашем колхозе, например, все сейчас стараются работать лучше, производительнее, потому что знают: больше заработают. Скажем, доярки уже в прошлом году неплохо получали — по 130 рублей в месяц, а нынче получат по 150. У механизаторов тоже увеличился заработок. Очень большое значение в жизни нашего колхоза имеют новые закупочные цены. Хорошо, что дан твердый, рассчитанный на пять лет план-заказ продажи государству нашей продукции.

Герой Социалистического Труда Анатолий Николаевич Гусев, комбайнер совхоза «Амо», Волгоградской области:

— Возможности у нашего сельского хозяйства большие, только мы — хлеборобы — еще зависим от погоды. Для нас, например, нынешний год оказался не из легких, дождей было мало. Но рук не опустили, делали все возможное, чтобы спасти урожай. Урожай собрали неплохой. Сейчас каждый знает, что старания твои не пропадут даром. Потому так и радостен наш новый праздник — Всесоюзный День работников сельского хозяйства.



На снимке: торжественное собрание в Кремлевском Дворце съездов.

Фото А. Пахомова и М. Скурихиной.



В Белоруссию приехали дорогие гости — писатели и кинематографисты Таджикистана во главе с членом-корреспондентом Академии наук Таджикской ССР Сатым Улуг-заде и народным артистом республики Борисом Кимягаровым. Началась неделя таджикской литературы, открывшаяся торжественным заседанием в здании Белорусской филармонии. Белорусские поэты и гости читали свои стихи, говорили о сердечной дружбе двух братских народов.

— Не беда, что Таджикистан отделяют от Белоруссии тысячи километров,— сказал в своей речи Сатым Улуг-заде. — Мы связаны с вами теплом сердец...

Гости поехали по городам и колхозам республики дорогами дружбы и братства.

На снимке: встреча таджикских гостей в Минском аэропорту.

Фото Л. Папковича.

●

РЕПЕРТУАР ДИНА РИДА, гастролирующего в СССР, чрезвычайно разнообразен. Это песни о борьбе за мир, необычайно тепло принятые зрителями, грустные, мелодичные песни о любви. Наконец, в его репертуаре ритмичные, стремительные твисты и шейки.

У слушателей особенный интерес вызвали антивоенные песни, сочиненные Ридом. В своем творчестве он остается активным борцом против угнетения и насилия, за свободу народов.

Рида полюбили у нас. И певец чувствует это. Недавно, в перерыве между песнями и аплодисментами, обращаясь к зрительному залу, он сказал:

— У меня сейчас такое ощущение, будто я привез сюда всю свою семью!



Дин Рид прав. У американского певца в нашей стране большая семья,—это все почитатели его оригинального таланта.

Н. Алексеева

●



Эти люди вынуждены расстаться со своими домами в Лагосе, где они спокойно жили до начала новых племенных столкновений в Нигерии. Английские колонизаторы оставили в наследство независимой Нигерии тяжелую проблему, посеяв в стране семена национальной розни.

ВЕК СЛАВЫ



Арам ХАЧАТУРЯН,
народный артист СССР, доктор искусствоведения.

В июльский день 1918 года, в пору очень трудную для совсем еще молодой Советской республики, Владимир Ильич Ленин отдал приказ о национализации Московской и Петербургской консерваторий.

Мне довелось быть свидетелем почти полувековой жизни Московской государственной консерватории. Помню, как в послереволюционные годы в ее классы стала приходить одаренная молодежь, представляющая такие народности, у которых прежде не было не только своих музыкальных школ, но не было и профессиональных музыкантов.

Я хорошо помню первого молодого чечено-ингушского композитора, поступившего учиться в Московскую консерваторию, первых ее студентов из республик Средней Азии, из Чувашии, Мордовии, Башкирии, Татарии. Мне легко представить себе их глубочайшее душевное волнение, благоговейный трепет, с которым они переступали порог большого дома на неширокой Никитской улице (улица Герцена). Я и сам испытал это, будучи взрослым, когда вошел в класс замечательного русского композитора, одного из основоположников советского симфонизма, Николая Яковлевича Мясковского. День, когда меня приняли в Консерваторию, был и остается для меня счастливейшим. Я с гордостью почувствовал себя отныне приобщенным к славной, полной высокого значения для развития всей мировой музыкальной культуры жизни крупнейшего центра музыкального образования.

Славным было консерваторское прошлое.

В мае 1940 года, к 100-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, Московской консерватории было присвоено имя великого композитора: он был одним из первых преподавателей.

На мраморных досках у входа в Малый консерваторский концертный зал золотыми буквами высечены имена воспитанников. Среди них — Сергей Танеев, Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Александр Гольденвейзер, Антонина Нежданова, Николай Голованов,— чья жизнь и творчество прославили и возвеличили русскую музыкальную культуру.

Школа исполнительского и композиторского мастерства, сложившаяся в Московской консерватории, получила мировое признание. Крепки ее традиции, прогрессивны принципы. В советские годы, осуществляя прямую преемственность консерваторских традиций, засверкало творчество Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Якова Флиера и многих, многих других.

Но, разумеется, не только именами и творчеством своих лучших воспитанников славна Московская государственная консерватория. Величайшее прогрессивное значение ее деятельности, особенно в последнее пятидесятилетие, в том, что глубоко демократическая по существу своему эта деятельность оказывала и оказывает огромное влияние на широчайшее распространение музыкальной культуры.

Известно, что консерватории, музыкальные училища и школы существуют и работают сейчас во всех республиках нашей большой страны. Всенародным становится музыкальное образование. И в числе тех, кто воспитывает юные таланты,— консерваторцы-москвичи, мои дорогие однокашники, ровесники и те, что годятся мне в дети. Консерваторию в Татарии возглавляет ныне Назиб Жиганов, в Армении — Лазарь Сарьян, в Грузии — С. Цинцадзе, известнейшие композиторы, в прошлом студенты Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

Их всюду услышишь, наших консерваторцев-москвичей. И становится их с каждым годом все больше. В Японии уже давала концерты молодая скрипачка Ёкко Сато — ученица Леонида Когана, «москвичка» по музыкальному образованию. У меня сейчас занимается ее земляк, молодой композитор Нубио Терахара. Студентов каких только национальностей не встретишь в нашей Консерватории! Сегодня они учатся, завтра понесут людям большие музыкальные знания, полученные в Москве.

Как часто во время поездок за границу к советским музыкантам обращались с просьбами послушать молодой талант и помочь поступить в Московскую консерваторию.

Это вызывает чувство гордости. Это безмерно радует.

Век славы прожит нашей Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского. Бессмертие — ее удел, как бессмертна великая музыкальная культура нашей великой Родины.



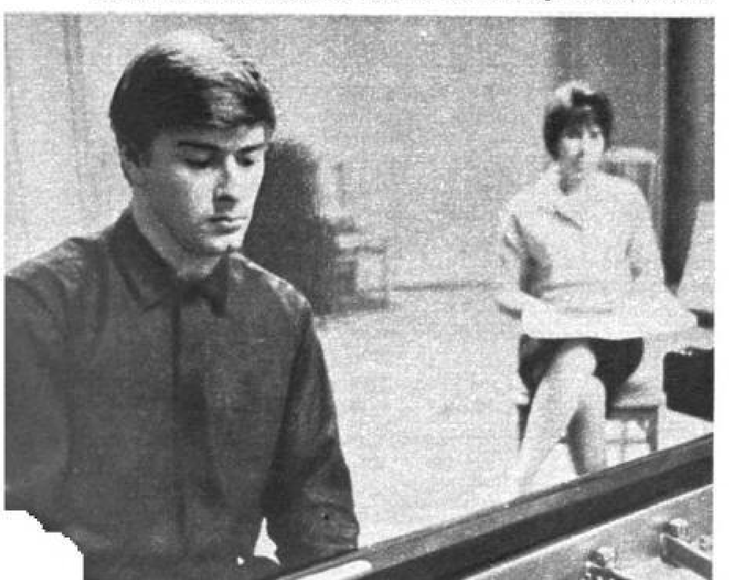
Большой зал консерватории. Сегодня дирижирует Геннадий Рождественский.

ГАРМОНИЯ

«Вдохновения нельзя ожидать, да и одного его недостаточно; нужен прежде всего труд, труд и труд...»

П. И. Чайковский.

На уроке. Вера Горностаева и Александр Слободяник.



После занятий.





Александр Васильевич Свешников — дирижер, педагог, директор консерватории.



Так рождается музыка. Т. Н. Хренников ведет занятия.



Композиторы. Дмитрий Борисович Кабалевский и Саша Ширинский.

ПЛЮС АЛГЕБРА

И. ВЕРШИНИНА

Фото Л. ШЕРСТЕННИКОВА.

Московская консерватория. Эти слова словно рассыпаются аккордами, чтобы потом слиться в музыкальные фразы, темы, концерты, увертюры, симфонии. Сколько их прозвучало здесь за 100 лет, сколько было исполнено, сколько написано!

Этот список начинает М. И. Глинка: по предложению П. И. Чайковского увертюрой к опере «Руслан и Людмила» открылась 1 сентября 1866 года Московская консерватория. Скромное торжество происходило не на улице Герцена, 13,— адрес, ныне известный без преувеличения музыкантам всего мира, а на Воздвиженке, в небольшом двухэтажном здании, что стоит и сейчас у самой Арбатской площади.

На выставке, посвященной 100-летию консерватории, есть карта, на которой флажками отмечены страны, юные таланты которых мужали и становились зрелыми музыкантами в этих стенах. Глядя на нее, нам подумалось: если отметить все города, где прозвучала музыка, рожденная или осмысленная в стенах Московской консерватории, пожалуй, на карте не останется не только белых пятен, но и свободного места. Это будет карта побед, карта завоеваний. Причем в каждом месте завоеванные исчисляются сотнями, тысячами, порой десятками тысяч, завоевателей — один или два. Первым завоевателем был Лев Оборин, в 1927 году покоривший слушателей Шопеновского конкурса проникновенной поэтической игрой. С тех пор имена советских музыкантов не сходят с уст, с афиш и газет мира.

* * *

Антон Рубинштейн писал когда-то: «Игра на инструменте — движение пальцев, исполнение — движение души». Создавая Московскую консерваторию, его брат Николай Рубинштейн и задался целью воспитывать исполнителей.

Как вы воспитываете ваших студентов? Вероятно, такой вопрос поставил бы в тупик не одного профессора. Есть программы, есть цель, есть задача, есть метод, есть направление и, как всегда в воспитании, нет рецепта.

Поэтому мы и решили не задавать его, а попытаться посмотреть сами.

Если Станиславский говорил о театре, что он начинается с вешалки, то консерватория, можно сказать, начинается с диспетчерской и ее главнокомандующего — Наталии Алексеевны. Здесь узнают всё: кто из профессоров на гастролях, где, когда приедет; кто преподает вокал; кто в Москве из лауреатов, когда будут; как прошел вчера концерт; кто занимается сегодня из пианистов; любой номер телефона и даже, что особенно важно для студентов, какой класс когда свободен. Но классы свободны бывают редко. А на этажах висят строгие объявления: «В коридорах и на лестнице играть на инструментах воспрещается». В первое же посещение консерватории мы убедились, что следуют этому указанию только пианисты.

Доска приказов. Все как во всех вузах. И длинный список имеющих академическую задолженность и список много короче — счастливцев, что ее уже сдали и снова зачисляются на стипендию. Кто-то берет академический отпуск для ухода за новорожденным, другой в связи с демобилизацией из армии восстанавливается на курсе. Тут же объявления кафедр — небольшие листочки, написанные от руки. «Класс 21, пятница, 23,— открытое заседание кафедры виолончели и контрабаса. Руководитель — проф. М. Л. Ростропович. Исполнение 2-го концерта для виолончели Д. Д. Шостаковича. Исполнитель — проф. Ростропович М. Л. Начало в 15 часов». Деловое сообщение. А вникните в его суть: ведь это — первое исполнение нового произведения Шостаковича! А через два дня, объявленное на афише, оно вызовет невиданный ажиотаж среди слушателей, и историки музыки зафиксируют премьеру.

Мы не были на заседании кафедры, мы слушали Ростроповича на уроке. Слушали, как играет он вместе со своими студентами, как разговаривает с ними. И трудно сказать, что было интереснее. Стоило студенту сыграть бледно, тускло, Ростропович тут же показывал ему это, несколько утрируя,

Андрей Эшпай и Родион Щедрин на заседании студенческого клуба.



Каринэ Георгиан, Мария Чайковская и Елизабетт Вилсон (Англия) в классе у Ростроповича.





как бы оглупляя исполнение, и тут уж становилось ясно каждому. Иногда профессор со студентом играл в унисон — помогал, иногда только слушал, иногда только разговаривал. Но это происходило тогда, когда слушать было нечего. Урок Ростропович дает всегда открытый. В короткие перерывы, пока вызванный студент берет ноты или вынимает виолончель, а маэстро и в этом требует сноровки и темпа, в классе царит непринужденная обстановка. Ростропович сообщает Каринэ Георгиан, получившей на III конкурсе Чайковского 1-ю премию, что всюду его о ней расспрашивают. В ходе разговора выясняется, что в октябре профессор и его ученица будут давать концерты «по соседству»: он — в Западном Берлине, она — в Берлине — столице ГДР.

— Я непременно к тебе приеду!

Вечером мы присутствуем на заседании клуба музыковедов и композиторов — встрече студентов с композиторами Андреем Эшпаем и Родионом Щедриным. Недавние студенты, молодые педагоги быстро находят контакт с собравшимися. Тема — рассказ о поездке в Западную Германию, но не туристские впечатления, а музыка. Музыка авангардистов, что звучит часто по западногерманскому радио и много реже в концертных залах; слушатель не ходит на них. О прогрессивных музыкантах и о композиторах, которые пуще всего боятся прослыть отсталыми. А слушателям уже надоело удивляться, они хотят настоящей музыки.

Словно продолжение этого разговора мы услыхали на уроке у Тихона Николаевича Хренникова. Молодые композиторы должны знать самое разное творчество своих сверстников за рубежом, и Хренников из частых поездок привозит им ноты, записи, рассказывает о новых течениях.

Как чужды эти формальные поиски тому, что влечет в искусстве, музыке его учеников. Вот Таня Чудова. По количеству написанной музыки можно подумать, что пишет она уже десятки лет. Ее пьесу для струнного оркестра вчера передавали по радио; исполнитель — струнный оркестр консерватории — играл ее уже в Югославии и Чехословакии. Танины романсы поют вокалисты, а сейчас она пишет детскую оперу по сказке Пушкина «О мертвой царевне». И Таня серьезно, низким басом, исполняет хор 7 богатырей, для которого она использовала народные мелодии, записанные летом во время фольклорной экспедиции. На народные тексты девушка написала еще пять хоров. Идет серьезный разбор партитуры, партии проверяются по голосам, обсуждается вступление, музыкальные характеристики.

Саша Воробьев записывал летом на Волге народные напевы. Одобряя материал, гармоничность, Хренников требует бо́льшей образности музыки, необходимость подчеркнуть ведущее состояние, разнообразить фортепианную технику... Превосходный пианист, он тут же у рояля иллюстрирует свою мысль... И все присутствующие сообща ищут необходимое решение. Вот эта атмосфера дружелюбия, отсутствие зависти и эгоизма, стремление помочь, потребность идти навстречу товарищу очень пленили нас. Каждый студент или аспирант — самостоятельный своеобразный и талантливый художник; большинство из них уже авторы балетов, известных кинофильмов, концертов, но главное — вот эта творческая и человеческая щедрость, которую воспитал в них Хренников, воспитала alma mater.

О творческой и человеческой щедрости мы не раз думали во время занятий в классах. Ведь педагог-то чаще всего сам тоже исполнитель; как же нужно раствориться в ученике, чтобы во время урока совершенно забыть о своей творческой индивидуальности!

Особенно поразило это на уроке молодого педагога.

Не так давно имя Веры Горностаевой появилось на афишах. Ученица Генриха Густавовича Нейгауза, она сразу заявила о себе как очень темпераментный, целенаправленный, вдумчивый пианист. Не удивительно, что сразу после аспирантуры параллельно с исполнительской деятельностью она занялась преподаванием.

С педагогом Горностаевой москвичи познакомились этим летом. Ее ученик Александр Слободяник стал лауреатом конкурса Чайковского, а самое главное — завоевал любовь слушателей. «В виртуозном отношении он может творить чудеса, и в музыкальном отношении его исполнение прекрасно». Вряд ли так точно, как Нейгауз, смогут сформулировать свои впечатления слушатели, но, видимо, интуитивно они думали то же. И в день юбилея консерватории, когда Концертный зал имени Чайковского открывал свой сезон, солистом выступал Александр Слободяник. Горностаева в это время выступала в Иркутске, но аплодисменты из зала Чайковского адресовались и ей. Ведь даже Нейгауз признавал, что у Слободяника «стихийный талант. А управлять стихией трудно». Вера Васильевна нашла в себе силы и педагога, и музыканта, и человека и не только научила хорошо играть, но воспитала художника. Теперь она спокойно отпускала его в большое плавание. Юноше после выступления на юбилее консерватории предстояли сольные концерты в США. А вниманием Веры Васильевны уже владела Женя Захарьева — ученица из Болгарии, которая готовилась к выступлению на конкурсе Шумана.

В этот день в Англии, в Лидсе, на конкурсе, в котором участвовало около 100 пианистов, ученик Горностаевой 19-летний Семен Кручин получил 2-ю премию, разделив ее с другой воспитанницей Московской консерватории, Аллой Постниковой. Оба играли на последнем туре концерт Чайковского.

Чайковский... Не раз за наше пребывание в Московской консерватории мы вспоминали о том, как заботился он о воспитании молодых музыкантов, сколько энергии и инициативы проявил после смерти Рубинштейна, добиваясь назначения на пост директора молодого С. И. Танеева. Петр Ильич был и инициатором приглашения в консерваторию Сафонова, сменившего через восемь лет Танеева.

С Чайковским мы «встретились» и дома у Дмитрия Борисовича Кабалевского.

— Я всегда занимаюсь дома. Библиотека под руками, а учить на примерах хорошей музыки всегда убедительней.

Клавиатура рояля. Три руки — две большие, уверенные, сильные, третья робкая, мягкая, детская... Среди учеников Дмитрия Борисовича, с которыми он занимается композицией, есть и несколько ребят из ЦМШ.

Саша Ширинский показывал квартет — свою летнюю работу, и Дмитрий Борисович сейчас разбирал отдельные его части. Но мало-помалу разговор перешел в дискуссию. Тема вечная. Она волновала когда-то Пушкина, написавшего «Моцарт и Сальери». Надо ли алгеброй поверять гармонию.

На помощь был призван Чайковский, «Евгений Онегин», последний дуэт. В этой сцене невероятное нарастание напряжения у Онегина — и от фразы к фразе идет нарастание в музыке. Все выше, выше берет он ноты и в заключительной фразе: «О жалкий жребий мой!» — единственный раз во всей партии Онегин берет соль, ноту, предельную для баритона; правда, тут же композитор написал и более низкую ноту — вариант для слабого певца...

— Может, у Чайковского это и интуиция, но она вырабатывается годами труда.

В тот же вечер мы отправились в Оперную студию консерватории, где студенты по традиции ставили «Евгения Онегина». Как известно, Чайковский не пожелал отдать оперу на императорскую сцену, где царили рутина и штамп, и предоставил ее Рубинштейну для постановки в Оперной студии консерватории. С тех пор, вот уж более 80 лет, вокалисты, заканчивающие Московскую консерваторию, непременно поют в своей студии «Евгения Онегина». Такова традиция. А сколь традиция обязательна, мы убедились на одном из студенческих спектаклей, в котором Татьяну пела народная артистка Галина Вишневская.

Великолепная исполнительница партии Татьяны на сцене Большого театра, много раз с триумфальным успехом исполнявшая ее за рубежом, Вишневская сейчас, уже знаменитой артисткой, защищала диплом.

Честь считать себя дипломантом Московской консерватории заманчива даже для знаменитостей.

Флейта и контрабасы.

Сегодня День работников пищевой промышленности

Зо
К

Я. МИЛЕЦКИЙ

Если заголовок этого репортажа и напоминает по аналогии «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова, скажу в оправдание, что он все же полностью соответствует действительности, ибо речь пойдет о корове, которая на самом деле является золотой. Еще пойдет речь о рогах и копытах, тех самых, которые заготавливала контора, созданная Остапом Бендером. Но великий комбинатор дал, оказывается, в этом деле маху, в чем тоже постараемся убедить читателя.

Когда попадаешь в район Калитниковских улиц, среди которых есть и Боенский проезд, и Воловья, и Скотопрогонная улицы, сразу же понимаешь, что попал в царство мясников. По мостовой снуют огромные рефрижераторы и крытые грузовики. На фасадах домов красуются вывески холодильников, заготконтор, баз, институтов — научно-исследовательского и учебного, техникума, производственно-технического училища, в котором, кстати сказать, некогда учился прославленный герой-летчик Виктор Талалихин, совершивший первый в истории авиации ночной таран при защите Москвы от налета фашистской авиации в августе сорок первого года. Наконец, вдали показываются установленные на воротах две массивные фигуры золотых коров. Это и есть Московский ордена Ленина мясокомбинат, о котором пойдет речь в этом репортаже.

— Издавна, еще во времена Петра I, мясники заполонили этот район,— рассказал мне директор комбината Николай Федорович Алексеев, сам работающий в мясной промышленности долгие годы.— Скотобойный промысел всегда привлекал русских купцов, наживавших на этом деле большие барыши. Среди скотопромышленников существовала целая иерархия. Начиналась она с бегунка — человека, который бегал по деревне и узнавал, кто продает коровенку, а кто свинью. Узнав, тотчас доносил об этом шибаю — купчишке, сшибавшему скот из ряда деревень. А тот уж продавал его прасолу — купцу солидному, собиравшему целые гурты и гнавшему их своим ходом в Москву, сюда, в Калитники. Здесь

ЛОТАЯ ОРОВА

торги велись с рассвета и до полудня, когда три удара колокола возвещали их конец и купцы, ударив по рукам, отправлялись в соседний трактир обмывать сделки.

Что же представляет собой Московский мясокомбинат? Построили его еще в 1937 году, и считался он тогда передовым предприятием для своего времени. С тех пор он подвергся полной технической реконструкции и вдвое увеличил выпуск продукции. Однако сейчас он с трудом удовлетворяет сильно возросшие потребности столицы, хотя и работает круглые сутки.

Главный инженер Борис Аганесович Геворгян привел несколько цифр, характеризующих размах предприятия. В день нашей беседы было выгружено 397 вагонов скота. На подходе, где-то возле станции Люблино, находилось еще 79 вагонов, а в пути — 297.

Но вот еще более ошарашивающие сведения. Колбасные заводы комбината передали сегодня для продажи населению четыреста тонн колбасных изделий. Но этого Москве мало: обычно столичные магазины продают за день до семисот тонн. Мясники помнят: рекордным был один из последних дней декабря шестьдесят четвертого года, когда магазины распродали свыше тысячи тонн.

Узнал я и о том, что по потреблению колбас и мяса наша страна стоит на одном из первых мест в мире и что меньше всего мяса едят японцы; что советская колбаса делается исключительно из хороших сортов мяса, в то время как американцы используют для этого отходы; что мясокомбинат выпускает не больше не меньше, как 170 сортов колбасных изделий, есть среди них такие, которые пользуются всемирной известностью.

Как-то Борис Аганесович привез такую высокосортную советскую колбасу в Брюссель на совещание, где, по его словам, собрались лучшие умы мясной промышленности чуть ли не со всего света. Отведав нашу колбасу, они пришли в восторг и все допытывались рецепта ее приготовления.

— А она и в самом деле хороша! — не без гордости восклицает главный инженер. — Знаете ли вы, что рисунок такой колбасы напоминает ночное южное небо, усеянное мерцающими звездами...

Я понял: Борис Аганесович по-настоящему влюблен в свою профессию.

— К сожалению, — говорит он, — мощности комбината пока ограниченны, хотя он и самый большой в стране и не уступает многим зарубежным. Спрос все растет и растет. Но ни одно предприятие в мире не выпускает столько колбасы, как наш комбинат.

— А чикагские бойни? — спрашиваю Бориса Аганесовича, зная, что он побывал в Соединенных Штатах Америки.

— Чикагских боен, некогда таких известных, больше не существует, — отвечает Геворгян. — Счетно-вычислительные машины подсказали скотопромышленникам, что им выгоднее продать земельные участки, занятые бойнями, для возведения там небоскребов, а убой скота производить на юге, где его откармливают. Теперь и Чикаго и Нью-Йорк получают оттуда охлажденное мясо либо поездами, либо авторефрижераторами. Правда, поезда с мясом идут там со скоростью 130 километров в час, а автомобили за сутки доставляют его даже на Аляску.

Об этом я вспомнил, когда пришел на железнодорожную платформу во дворе комбината. В вагонах стояло, мыча, блея и хрюкая, то, что мясники называют одним словом: сырье. Но в отличие от всякого иного сырья это требует особого ухода: его надо кормить, поить и даже лечить.

На железнодорожных путях — два длинных состава. Вид у «сырья» был усталый, но все же достаточно упитанный.

— Откуда свинки?

— Со станции Кантемировка, — ответил проводник, человек пожилой и основательно обросший, видимо, за время пути.

— Долго ли ехали?

— Да почитай больше трех суток... Под Москвой всю ночь простояли...

Значит, о скорости 130 километров в час пока можно только мечтать.

Теперь мы пройдем с вами тот путь, который предначертан «сырью», и убедимся, что корова действительно является золотой. Первый этап — корпус предубойного содержания скота. Это огромное шестиэтажное здание с пологими лестницами. Рев стоит тут страшный. Животные принимают здесь душ, и горячий и холодный, а он им явно не по душе.

Но вот коровья туша, повешенная на крюк, пошла гулять по конвейеру. В течение сорока минут она будет медленно переходить из рук в руки, пока не превратится в обычную, так хорошо знакомую нам говядину.

Тут-то я и увидел настоящих мясников! Не тех, что стоят за прилавками мясных магазинов и произносят стереотипную фразу «мяса без костей не бывает», чем немало досаждают домашним хозяйкам. У конвейера стояли богатыри: рослые, сильные, широкоплечие, в резиновых передниках и резиновых сапогах, с большими и острыми ножами в руках. Разделка туши требует больших физических усилий, хотя мясники и применяют всяческие инструменты, облегчающие их труд.

Прежде всего из убитого животного выпускают кровь, которая по трубам доставляется в медицинский цех для выработки лечебных препаратов — в том числе и гематогена — и использования в колбасном производстве. Не меньшие богатства несет человеку и коровья голова. Из глаз ее вырабатывается препарат стекловидное тело, при введении которого улучшается общее состояние больного человека, появляется бодрость, крепкий сон, хороший аппетит, повышается общий тонус организма.

Коровий язык, который, кстати сказать, так редко появляется на прилавках, тоже приносит большую пользу науке. Я видел сотни языков, доставленных в лабораторию, где в стерильных условиях лаборантки снимали с них слизистую оболочку, которая используется для выращивания вируса ящура и изготовления противоящурной вакцины.

Я иду вдоль конвейера и наблюдаю одну операцию за другой. Ничто из коровьего богатства не пропадает, все тщательно собирается: поджелудочные и надпочечные железы, желчь и слизистая оболочка тонких кишок, кости и даже волосы на ушах, из которых делают специальные кисточки для художников. Буренушка не обошла и музыкантов: она дает им смычок и струны. Даже часовщики поминают ее добрым словом: масло для часов производится тоже не без ее участия. Мясники утверждают, что не будь золотой коровы, не было бы и губной помады. В общем, подсчитано, что коровушка дает чуть ли не с полтысячи всяческих полезных вещей.

Когда мы шли вдоль конвейера, мне указали на трех человек, внешне ничем не отличавшихся от остальных: те же резиновые передники, крепкие руки и острые ножи. Это два ветеринарных врача и студент ветеринарной академии. Они берут с конвейера печенку, сердце, легкие, рассекают их резким ударом ножа и осматривают. Малейшее подозрение — и туша снимается с конвейера. Труд врачей требует такого напряжения, что, проработав час, они отправляются на часовой же отдых, а их место занимают другие.

Еще одна операция — клеймение. Опытным взглядом технолог определяет качество мяса и ставит соответствующие печати, которые мы видим и в магазинах. Однако тонкости клеймения туш вряд ли известны покупателям.

Оказывается, на мясо первой категории технолог ставит круглое клеймо, причем в пяти местах. Если же вы увидите на туше два квадратных клейма, знайте: это мясо второй категории. Тощее мясо вы и сами узнаете, но все же учтите: клеймо на нем треугольное.

Обогатившись такими познаниями, весьма полезными при посещении мясных магазинов, я все же должен заметить, что мяса без костей действительно не бывает, хотя по конвейеру медленно плыли туши, на которых чаще всего красовались круглые клейма.

Совершив сорокаминутный вояж по конвейеру, одни туши направлялись в мясные магазины для продажи, а другие — для выработки колбас. На колбасном заводе буренушки превращались в фарш, из которого делали колбасы, сосиски и сардельки. А кости отправляли частично на заводы для производства клея, костной муки и других вещей, а частично пересылали в соседний цех, где из них делают миллионы пуговиц, расчески, зубные щетки и мундштуки.

Колбасы из говяжьего мяса встречаются на складе со своими родичами, изготовленными из свинины, с окороками и корейками, поступившими из цеха, где свиньи тоже отдали человеку все, чем наградила их природа.

Теперь, чтобы окончательно убедить читателя, что русская буренушка действительно золотая корова и что Остап Бендер опростоволосился со своей конторой по заготовке рогов и копыт, мне остается только проводить вас в мастерскую, где из этих рогов и копыт изготовляются чудесные вещи. С копытами просто — из них делают пепельницы, а вот рога превращаются под руками талантливых мастеров в произведения искусства.

Этим волшебным превращением руководит молодой еще человек, Виктор Антонов, студент последнего курса Московского университета, кафедры теории и истории искусства. Молоды и остальные работники мастерской — Юрий Поляков, Лев Гельвановский, Анатолий Зюзин. В ассортиментном кабинете собрана продукция мастерской. Можно долго стоять у стеклянных шкафов и любоваться тем, во что превратились простые коровьи рога: юрким воробушком, ощетинившимся дикобразом, маленькими лошадками, лосем, жар-птицей...

Где купить эти безделушки и дорого ли они стоят? Недорого, всего несколько рублей. Бывают они изредка то в ГУМе, то в магазине подарков. Почему изредка? Торговые работники, ссылаясь якобы на требования потребителей, предпочитают заказывать слонов и аляповатые цветы, сделанные из рогов.

...У входа в цех, обрабатывающий свиные туши, я увидел плакат. Он извещал, что вечером состоится футбольный матч и что в нем будут участвовать две популярные команды комбината — «Корейка» и «Окорок».

Мир образов Рефрежье

А. ЧЕГОДАЕВ,
доктор искусствоведения, профессор

Среди довольно однообразных, бесконечно длинных, уходящих словно на край света улиц Сан-Франциско я особенно хорошо запомнил одну — улицу Миссии, названную так в честь Миссии святого Франциска Ассизского, основанной в конце восемнадцатого века испанскими монахами на месте будущего города Сан-Франциско и впоследствии названной Миссия Долорес. Сохранившееся до наших дней приземистое и суровое здание Миссии, построенное в испанском вкусе, было открыто для немногочисленных тогдашних обитателей Тихоокеанского побережья в 1776 году, почти в те же самые дни, когда на другом конце Северной Америки, на берегах Атлантического океана, тринадцать английских колоний восстали, объединившись в союз, против своей метрополии и провозгласили торжественную «Декларацию Независимости», написанную великим американским философом-просветителем Томасом Джефферсоном.

Но не этот старый, аскетически мрачный испанский монастырь, ставший колыбелью будущего огромного города, ровесник Соединенных Штатов Америки, поразил мое воображение. Нечто гораздо более неожиданное, интересное и значительное оказалось в противоположном конце длинной и пустынной улицы Миссии. В неуютном и унылом районе доков, вдалеке от роскошных универсальных магазинов и шикарных ночных клубов центра Сан-Франциско, вдалеке и от стандартных туристских маршрутов, стоит ничем снаружи не примечательное и не менее скучное и мрачное на вид, чем Миссия Долорес, невысокое здание Ринкон-Хиллского почтового отделения, сооруженное в 1939 году без особых признаков творческого вдохновения архитектором Лусисом Саймоном. Этому рядовому и скромному почтамту выпала честь стать главной художественной достопримечательностью не только Сан-Франциско, но всего района сан-францисской бухты благодаря ослепительно сверкающему и сияющему радужными красками, великолепному циклу стенных росписей Антона Рефрежье, идущих вдоль верха стен всего огромного операционного зала почтамта.

Про эти росписи нельзя сказать, что они украшают зал лишь своим декоративным блеском: в их подлинной и глубокой красоте заключено очень большое образное и идейное содержание. Эти двадцать девять многофигурных картин, выполненных казеиновыми красками по сырой штукатурке и достигающих каждая почти шести метров в ширину и примерно двух с половиной метров в вышину, изображают в последовательной смене монументально-величавых и в то же время островыразительных сцен всю историю Калифорнии: от патриархальной жизни древних индейских племен, от прихода испанских монахов и солдат, от первых переселенцев из восточных штатов и до второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций. Два века бурной, тревожной, драматической истории словно легли между тишиной тенистого кладбища Миссии Долорес и этим кипящим и сверкающим миром художественных образов, рожденных мыслью и воображением одного из крупнейших художников Америки двадцатого века, который словно подвел в своих фресках взволнованный, во многом трагический, в чем-то обнадеживающий итог импульсивной и малоорганизованной жизни Сан-Франциско за все время его существования.

Такую роспись — монументальную и по своим размерам, и по своей художественной форме, и по своему образному строю — мог создать большой художник, обладающий не только высоким профессиональным мастерством, но и широтой кругозора, горячим сердцем и неподкупной честностью мысли. Глядя на эти фрески, легко понять, почему американские туристские агентства не очень-то охотно показывают Ринкон-Хиллское почтовое отделение бесчисленным приезжим, американцам и иностранцам, явившимся полюбоваться на самый красивый город Америки, как величают Сан-Франциско (и довольно справедливо!) туристские проспекты. Во фресках Рефрежье, кроме их художественного совершенства, заключена опасная взрывчатая сила, и не случайно вокруг них вот уже два десятилетия идет острая и напряженная борьба, и даже Конгрессу Соединенных Штатов приходилось рассматривать внесенный одним калифорнийским конгрессменом билль об уничтожении ринкон-хиллских росписей. К счастью, билль этот был провален в результате мощного заступничества прогрессивных сил Америки, но защищать роспись Рефрежье приходится и сейчас, у нее много сильных и опасных врагов.

Действительно, Рефрежье слишком сильно и слишком ясно положил свет и тени на свои обобщенные образы истории Калифорнии. Он нашел суровую и строгую простоту и значительность в обликах и характерах тех людей, которые честно жили и работали на калифорнийской земле и творили все лучшее, что вошло в культурный фонд американского Дальнего Запада. В таком строгом гуманистическом плане изображены им и индейцы, работающие на испанских миссионеров, и переселенцы, преодолевающие великие трудности пути через Скалистые горы, и рабочие, прокладывающие Тихоокеанскую железную дорогу, и обитатели Сан-Франциско, пережившие трагические дни страшного землетрясения и пожара, которые почти полностью уничтожили город в 1906 году. С глубокой симпатией написал Рефрежье включенные им в различные эпизоды истории портреты замечательных людей: здесь можно встретить прогрессивных журналистов и общественных деятелей, знаменитых писателей и ученых, внесших свой вклад в культуру Калифорнии, как Марк Твен и Лютер Бербанк, Брет Гарт и Джек Лондон или прославленный английский писатель Роберт Луис Стивенсон, живший в Сан-Франциско перед своим последним путешествием в Океанию.

Но рядом с такими людьми во фресках Рефрежье возникают и совсем другие человеческие образы, не делающие чести истории Дальнего Запада: авантюристы и спекулянты, хлынувшие в Калифорнию после открытия там золотоносных россыпей в 1848 году, погромщики-реакционеры, объединившиеся в банды под именем виджиленти (бдительные) и расправлявшиеся со своими политическими противниками и неграми, желтые профсоюзные лидеры или бесцеремонно и безгранично наживающиеся капиталисты и т. п. Рефрежье не стал опускать или маскировать теневые стороны калифорнийской истории прошлых времен или наших дней, изобразив и столкновение сторонников Линкольна с защитниками рабовладения во время Гражданской войны 1860-х годов, и бесчинства расистов или поклонников фашизма, и линчевание негра. Его отношение к реакции и защита демократических и гуманистических принципов недвусмысленно и ярко выступают в каждом эпизоде истории, им изображенном, и такое же чувство возбуждает его роспись у зрителей, но, конечно, не у тех, кто сам является потомком виджиленти или современным берчистом.

И в то же время сила воздействия этих фресок — в их душевной взволнованности, в патетической и напряженной экспрессии выражения и жеста, в строгом и точном отборе самого существенного и главного, в покоряющем звучании колорита, построенного на прозрачных, светоносных оттенках красного, розового, лимонно-желтого, лазоревого цвета. Весь зал Ринкон-Хиллского почтамта кажется пронизанным этими светоносными потоками цвета, сразу же настраивающими зрителя на приподнято-праздничный, далекий от будничной прозы и в то же время напряженно-серьезный и сосредоточенный лад.

Антон Рефрежье был еще молодым человеком, когда получил заказ на эту роспись (заняв первое место на конкурсе) от администрации общественных работ, учрежденной президентом Франклином Рузвельтом для помощи художникам после великого кризиса 1929—1931 годов и для придания искусству широкого общественного звучания: именно при Рузвельте было создано по всем Штатам множество монументальных росписей в университетах, школах, больницах, почтамтах и других изданиях такого же характера — больше, чем за всю предыдущую и последующую историю США. Но получил Рефрежье этот заказ и одобрение своих эскизов в 1940 году (когда только что было построено здание почты), а выполнять и заканчивать работу ему пришлось лишь после войны, в 1946—1949 годах, при президенте Трумэне. Теперь работе художника ставились всякие препоны. Ему



А. Рефрежье. МИР. 1950.

А. Рефрежье. СВЕРХЧЕЛОВЕКИ (Сталинградская битва). 1945.

Картина подарена автором городу Волгограду.

ПРОЦЕССИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ. КУ-КЛУКС-КЛАН.

не было позволено включить в роспись портрет Рузвельта, которым он хотел почтить его память, были запрещены и некоторые слишком уж резко намеченные художником эпизоды.

Трудно представить себе что-либо более далекое от теории искусства для искусства, от мнимого принципа самовыражения художника и других софизмов, на которых строится вся художественная программа абстрактного искусства или поп-арта и других течений, враждебных какой-либо жизненной правде.

Рефрежье выполнил много и других монументальных росписей в разных штатах и городах Америки: в клинике Майо в Рочестере (штат Миннесота), в Сиракузском университете (штат Нью-Йорк) и т. д. Всюду и везде он брал большие и важные темы, особенно темы творческого труда. Он привел меня однажды в круглый вестибюль постоянной выставки тканей на Пятой авеню в Нью-Йорке; во всю вышину двухсветного зала поднялось здесь огромное вертикальное панно, написанное Рефрежье и изображающее в удивительно красивом и величавом строе работу ткачей, ритмически уравновешенное, сияющее светлыми розовыми, голубыми и желтыми цветовыми ударами, сливающимися в сильную и радостную, отнюдь не сентиментальную и не приукрашенную гармонию.

Антону Рефрежье более всего и свойственно подобное обобщенное и монументальное мышление, часто пользующееся языком символов, даже языком притчи или сказки, но неизменно обращенное к людям, к живой жизни во всей ее противоречивой сложности и выносящее жизненным явлениям справедливую оценку. Несомненно, он многому научился у великих мексиканских живописцев-монументалистов — Диего Риверы, Ороско, Сикейроса (с Сикейросом его и до сих пор связывает близкая дружба), но вместе с тем его искусство стало, в свой черед, одной из важнейших направляющих сил в реалистическом течении современного американского искусства. Он связан дружескими отношениями и творческой близостью с крупнейшими прогрессивными художниками Америки наших дней, такими, как Эдуард Хоппер, Рафаэль Сойер, Рокуэлл Кент, Джек Левйн, Джозеф Фёрш и другие, то есть теми мастерами, что являются достойными наследниками и продолжателями великих американских реалистов конца XIX и начала XX века — Уинслоу Хомера, Джеймса Уистлера, Томаса Икинса, Роберта Генри, Джорджа Беллоуза. Искусство Рефрежье опирается на глубокую и большую традицию и поддерживается творчеством художников такого же порядка, как и он сам. У них есть уже и достойная смена.

Нам дорого и близко это честное и искреннее творчество, могущее быть и напряженно-драматическим и тонко-поэтическим, но всегда проникнутое чувством великой ответственности художника перед своим временем и своим народом. Вся жизнь Антона Рефрежье представляет собой достойный глубокого уважения пример служения людям, служения большим гуманистическим идеям двадцатого века.

Нас трогает его нелегкая судьба еще и потому, что он многими фактами своей биографии и многими сторонами своего творчества связан с русской и советской культурой. Он родился в 1905 году в Москве — отец его был француз, мать русская,— и его предки по материнской линии были мастерами русского искусства — русской музыки, русского балета. Он провел юношеские годы в Париже, сложился как художник в Соединенных Штатах Америки и живет там сейчас, но он навсегда сохранил привязанность к русскому народу и русской культуре. Непосредственное отношение к советской культуре имело и то, с чего Рефрежье начал в тридцатые годы свой творческий путь: он стал тогда одним из участников Клуба Джона Рида, войдя в группу политических рисовальщиков, которую возглавлял Роберт Майнор; деятельность этих художников, карикатуристов и иллюстраторов прогрессивных и коммунистических журналов и газет сложилась под сильнейшим и определяющим влиянием Великой Октябрьской революции. Когда Рефрежье стал по преимуществу художником-монументалистом (он стал на этот путь со времени успешного выполнения росписи для американского павильона Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке), он перенес в свои огромные фрески и панно темперамент публициста и политического оратора, с каждой работой углубляя свое философское мышление и свою склонность к большим обобщениям, но никогда не теряя острой и непреходящей актуальности тем и образов.

Не удивительно, что во времена сенатора Маккарти Рефрежье подвергся гонениям и ему с семьей пришлось долго бедствовать, так как его лишили возможности работать над монументальной живописью, как и продавать свои станковые картины; ему пришлось уйти и из университета, где он был профессором. Но зато он был избран членом Всемирного Совета Мира и участвовал в его стокгольмских сессиях; он стал также одним из руководителей Национального комитета американо-советской дружбы, возглавив его комиссию по изобразительным искусствам. Он неразрывно связал свою жизнь и свою работу с борьбой за мир во всем мире. Но никто и не сомневался, на чьей стороне будет он в той глубокой борьбе двух культур, которая с давних пор делила непроходимой трещиной культуру Соединенных Штатов, а в наши дни достигла особенной остроты и непримиримости.

Недавно Антон Рефрежье больше месяца был в Советском Союзе — гостем Института советско-американских отношений и Союза художников СССР. У него и раньше было много друзей в Советской стране, теперь их стало еще во много раз больше. Он встречался со многими художниками, в том числе художниками-монументалистами, так же как и со студентами Мухинского и Строгановского училищ, где преподается монументальная живопись, и выяснил близкое совпадение или тождество взглядов на задачи, возможности и пути развития монументальной живописи в настоящем и будущем. Еще до своего приезда он отправил в Москву выставку своих работ, которая — впервые после двух выставок Рокуэлла Кента — дала возможность советским зрителям более, чем обычно, широко и углубленно представить себе характер творчества одного из наиболее интересных и выдающихся мастеров современного американского искусства.

На этой выставке, естественно, не могли присутствовать его монументальные работы — пришлось довольствоваться немногими эскизами или подготовительными этюдами, по которым только относительно можно представить себе, чтó получилось у него в конечном счете. Но интересно и многозначительно то, что ясный отблеск его монументальных принципов отчетливо выступает в его станковой живописи и в рисунках. Это сказалось и в том, что картины и рисунки постоянно и легко объединяются у него в целостные и связные циклы, посвященные одной теме, и в том, как строится в его станковой живописи колористическая гармония — обычно очень напряженная и светлая,— а также и строго упорядоченная и ритмическая композиция, словно рассчитанная на точку зрения издалека, как это бывает со стенными росписями.

Многие циклы картин Рефрежье были представлены им на выставку отдельными, единичными вещами, и тогда о характере всей серии в целом судить было трудно (так получилось, например, с его замечательным циклом картин, посвященным Мексике,— это возмещало лишь в некоторой мере мексиканские рисунки). Но о двух важных сериях картин можно было составить более точное представление. Это наполненный необычайным волнением, ужасом и надеждой цикл картин в защиту мира, против войны, репродукции с которого были изданы в США в виде альбома, с подписями знаменитого певца Пита Сигера и с предисловием великого ученого-химика Лайнуса Полинга. Это не менее напряженный, но еще более контрастный цикл картин, направленный против расового неравенства и расистского мракобесия, столь обнажившегося и обострившегося сейчас в Америке. Над этой серией картин Рефрежье работает в настоящее время и намерен по окончании работы не только выставить всю серию в Америке, но и издать ее также в виде альбома, чтобы распространить ее как можно шире. Кстати сказать, доход от продажи этих альбомов Рефрежье идет в пользу организаций, борющихся за мир и против расизма и сегрегации. В некоторых картинах этой серии («Сегрегационисты», «Мы идем в школу», «Поджигатели церквей») Рефрежье встал на путь крайне резкой сатирической экспрессии, в такой степени ему обычно несвойственной. Зато в других работах серии он противопоставил этому уродливому миру чудовищных, нечеловеческих масок мир простой человеческой сердечности, мир чистых, лирических чувств, нашедший в его руках очень нежную и поэтическую форму.

Можно было бы думать, что такая откровенная общественная обостренность художественных образов Антона Рефрежье могла бы привести к сухой и оголенной дидактике, к надоедливой назидательности или схематизму, но этого не случилось, так как все большие (в том числе и самые острейшие) темы современности преломляются в его творчестве сквозь глубоко личное поэтическое вйдение мира, сквозь сердечную тревогу или радость. И это снимает всякий оттенок нарочитости или излишней литературности, чего вовсе нет и в монументальных росписях художника.

Мне лично кажется, что Антону Рефрежье в его станковых картинах лучше удаются образы лирические и человечные, сердечные и нежные, особенно детские и женские. Конечно, есть своя большая сила и выразительность и в работах вроде показанной на выставке картины «Процессия приближается», где изображен оркестр куклуксклановцев, которым дирижирует необычайно благообразный и представительный господин в безупречном черном пальто и цилиндре, оттеняющем белые балахоны и капюшоны погромщиков. Но сильнейшие качества Рефрежье все же отчетливее выступают в картинах такого типа, как «Дети у моря» (где девочка несет на спине младшую сестру),— сияющая многоцветная радуга светлых красок этой картины дает наиболее приближенное представление о цветовом строе фресок и больших панно Рефрежье, да и сама по себе необычайно привлекательна своей радостью жизни, своей увлеченной и ясной поэзией.

Таких картин на выставке можно насчитать целый ряд: «Друзья» и «Юные музыканты», к этой же категории относятся и «Девушка с подсолнечниками», и «Улица», и «Мир» (с женщиной, выпускающей белого голубя); таковы и некоторые вещи, виденные мною в Америке, как, например, прелестный «Мальчик с раковиной». Рефрежье-лирик выступает в своей станковой живописи достойным соратником Рафаэля Сойера или Эндрью Уайеса — самых мягких и человечных художников в современном поколении американских мастеров-реалистов.

Но, я думаю, не стоит так расчленять и классифицировать достоинства искусства Антона Рефрежье. Ведь есть и такие его картины, где нежная лирика и драматическая экспрессия сливаются в один целостный строй, создающий особенную полноту и напряженность мысли и чувства. Именно такими качествами отличается картина «Наследник будущего»— быть может, лучшая из станковых картин, когда-либо написанных Рефрежье. Я рад, что именно эта картина, вместе с картинами «Друзья» и «Юные музыканты» и рисунком «Человек с птицей», была приобретена Государственной закупочной комиссией для Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Антон Рефрежье принес в дар музею большой эскиз фрагмента монументальной росписи в клинике Майо в Миннесоте —«Человек и его творчество» (скульптор, высекающий статую Авраама Линкольна, с древней индейской скульптурой на первом плане). Эти работы займут почетное место вместе с картинами и графикой Рокуэлла Кента в американском разделе обширного нового зала современного искусства Запада, который готовится музеем и будет открыт в будущем году.

Искусство Антона Рефрежье находится в полной гармонии с душевным и нравственным обликом этого замечательного, умного и тонкого человека. Пожалуй, неожиданно только одно: не зная Рефрежье, трудно представить себе, что весь ораторский пафос его грандиозных монументальных росписей, безжалостная суровость его оценок и приговоров по отношению к реакционным силам истории и современности, непримиримая резкость его политической сатиры возникают в мыслях и чувствах и осуществляются руками человека бесконечно скромного, застенчивого и деликатного в обращении с людьми, полного доброты и сердечной мягкости. Впрочем, так и должно быть у настоящего, большого художника!

Фото Галины САНЬКО.

ДЕТИ, ПЕРЕЖИВШИЕ ВОЙНУ

Этой фотографии 22 года.



Клавдия Александровна Нюппиева-Соболева показывает своим ребятишкам, не знавшим войны, тот давний снимок.

Здесь земля была вытоптана, утрамбована сотнями ног. Здесь не то что цветку, самой неприхотливой травке не за что уцепиться, негде пустить корни. И вдруг шестилетний узник концентрационного лагеря увидел за колючей проволокой маленькое сверкающее чудо. И потянулся за цветком, забыв обо всем на свете. Сухонькое тело скользнуло под проволоку, и тут же на мальчика обрушился град ударов. Ребенка били резиновой плетью, пока он не перестал дышать...

Эта трагическая история произошла на глазах М. М. Марина, ныне жителя Петрозаводска, слесаря завода тяжелого бумагоделательного машиностроения. Что же заставило его вспомнить те страшные времена сейчас, спустя два с половиной десятилетия?

Дело в том, что в карельских областных газетах «Ленинская правда» и «Советская Карелия» недавно была опубликована фотография, сделанная репортером Галиной Санько двадцать два года назад — в день освобождения Петрозаводска.

Дети за колючей проволокой. Печальные глаза. Изможденные лица.

...Все, кто находился в лагере № 6, были вывезены оккупантами из Заонежья. Людей, оказавшихся за колючей проволокой, морили голодом, истязали, подвергали бесконечным унижениям. «Помню,— пишет Клавдия Соболева (ныне Нюппиева), которой тогда было девять лет,— как люди падали в обморок в так называемой бане, а затем их обливали холодной водой. Помню «дезинфекции» бараков, после которых шумело в ушах и у многих шла носом кровь. И парилку помню, где с большим «старанием» обрабатывали все наше тряпье. Помню, как солдаты стреляли в детей, которые пытались проникнуть за пределы лагеря в поисках пищи».

И вот миновали годы. Как же сложилась судьба мальчиков и девочек, запечатленных на снимке Галины Санько?

Одним из первых откликнулся Аркадий Николаевич Ярицын, работающий ныне токарем на Онежском тракторном заводе. (На снимке — мальчик в черной кепке, стоящий слева от столба.) Ярицын женат. У него двое детей. Живет семья в благоустроенной квартире. Увлечение Аркадия Николаевича — музыка: в часы досуга играет на баяне.

Узнала себя на старой фотографии и Клавдия Соболева, письмо которой мы цитировали выше. Видите девочку с грустными глазами справа от столба? Это и есть Клавдия. Платье на ней из старой простыни, сшили его, когда в парилке сгорели все ее вещи.

Клавдия Александровна — аспирант Института биологии Петрозаводского государственного университета — сейчас изучает морозостойкие сорта картофеля, которые так нужны на севере.

Две ее сестры тоже были в лагерях. Старшая — Антонина — стала мастером на деревообрабатывающем комбинате. А вот о младшей — Эльвире — до сих пор ничего не известно. Много лет безуспешно разыскивают ее сестры. Вот и сейчас попросили меня: «Напишите, пожалуйста, что Эля была с нами в радостный день освобождения, а потом мы попали в разные детские дома. Элю определили в Сосновецкий дом малюток. Но то ли фамилию ее записали неправильно, то ли еще что, только нигде в списках мы ее не обнаружили. У нее была особая примета: небольшое родимое пятно на лбу, овальное, розовое».

Разыскивают не только Элю Соболеву, но и того мальчика, который на снимке рядом с Аркадием Ярицыным. «Дорогая редакция,— пишет из поселка Пийтсиёки, Суоярвского района, Карельской АССР, Анна Кузнецова,— прошу вас узнать что-нибудь про мальчика, который стоит слева от столба вторым. Он очень похож на моего сына Володю Ванина. Его у меня отобрали фашисты».

Эксперт В. Д. Петухов, сличив присланную А. Кузнецовой фотографию с той, которую мы публикуем, сказал: предположительно можно считать, что на снимке Г. Санько действительно Володя Ванин. Но где он сегодня?

А девчушка в черном берете, стоящая сзади, справа от столба? Сначала было известно лишь то, что зовут ее Надей и что после освобождения Петрозаводска она уехала с эвакогоспиталем на Дальний Восток. И совсем недавно в нашей редакции узнали: фамилия этой девочки — Ростовцева, родом она из поселка Шуньга, Медвежьегорского района Карелии. Где сейчас Надя Ростовцева, как сложилась ее судьба после войны?

Мы надеемся, что люди, которые знают о судьбе детей-узников, запечатленных на фотографии Галины Санько, напишут в редакцию.

Ис. БАЦЕР,
ответственный секретарь
газеты «Ленинская правда».

Петрозаводск.

Аркадий Николаевич Ярицын и его семья.



Подвиг, называемый работой

Вячеслав КОСТЫРЯ

В представлении неосведомленного человека современная шахта — это почти метро. Лампы дневного света, широкие тоннели — квершлаги и чуть поуже — штреки.

У шахтеров — профилактории с лесным воздухом и кварцевыми лампами. Ну, а уголь добывают вовсе и не шахтеры, а машины: нажал кнопку — и пошел уголек на-гора́ сам по себе...

Горняки, ежели при них скажут такое, ухмыляются.

Крут, широк, своеволен... Это не о человеке. Это говорят о пласте угля, что залег почти на километровой глубине. Имя этому пласту — «Девятка». Вначале, когда разрабатывались верхние горизонты горловской шахты «Комсомолец», с пластом было легче. Но потом уголь из «Девятки» стал даваться трудней и трудней: было слишком глубоко. Чудовищной силой давит на крепления толща земли, подстерегает шахтера рудничный газ. Да и работать тяжело: в забоях жарища, как в тропиках...

— Одно слово, «Девятка»,— так сказал мне начальник семьдесят шестого участка Александр Михайлович Сазонов.— Сотня забойщиков, проходчиков, крепильщиков, лесогонов над ним бьется... А пласт вытянулся во всю свою стодвадцатиметровую высоту, бросается из стороны в сторону... То растолкает другие породы в стороны метра на четыре, то повиснет.

— Да хоть бы окружающие породы были покрепче! — сокрушался главный маркшейдер Рыжков.— А то чуть пласт отойдет вглубь, вокруг все начинает сыпаться. А куда? На головы забойщиков!.. Тут не зевай! А план есть план.

— И выполняете?

— Как всякий план... Если случается неувязка, у начальника шахты на отчете попотеешь!..

— Стучит кулаком по столу?

— Анатолию Ивановичу это противопоказано, столов не напасешься.

— Значит, на слово мастак?

— Умеет... Выйдет из-за стола, станет у окошка и начинает разбор «боевых действий»...

Инженер Проскурин рассказал:

— Пустили, понимаете, на «Девятке» комбайн «УКР-1». И хорошо еще, что не на всю длину лавы пустили, снизу оставили три двадцатиметровых уступа. Вначале все было нормально, уголь рекой шел, перевыполнение плана и все такое. И вдруг при соблюдении всех мер предосторожности: трах-бах-бабах!.. Как на войне артналет! Кровля рухнула. Еле вытащили комбайн.

— А люди?

— Люди спрятались в кутках молотковых уступов, для этого уступы и оставляли. Ведь комбайновая лава ровная во всю длину, как горка для санок, нигде не укроешься.

— Никого не прихватило во время обвала?

— Никого... Да если б и прихватило, пересидели бы дня тричетыре.

Это говорилось по-шахтерски спокойно.

— А чем питаться эти три-четыре дня?

— У каждого фляга с водой и «тормозок» — легкий шахтерский завтрак (буханка хлеба да добрый кусок сала). А на десерт, значит, кора от сосновых стоек да вода из шланга. Настоящего шахтера не так-то просто взять на измор!

Начальник отдела кадров Шеремет не выдерживает. Шеремет влюблен в людей, работающих на «Девятке»:

— Короли Донбасса! А что? Стрельцов! Недаром его зовут «Михаил Первый». С двадцать первого работает в шахте, пенсионер. А как прослышал, что «Девятка» заблговала, пришел на помощь к Сазонову. Ручищи-то у Стрельцова — что тиски... А «Михаил Второй» — Покора? Он с военной службы к нам на шахту пришел, угольный пласт его тельняшки боится. А Карпов! А Лозицкий! А Петро Лысенко! А... Эти ж горы свернут, не то что пласт!

— Там моих шесть коммунистов,— ревниво заметил секретарь

шахтной парторганизации Владимир Ефимович Левченко.— Недавно приняли в партию и самого начальника участка. Единогласно!

С кем бы ни происходил разговор, все в один голос хвалили добытчиков участка, но с таким же единодушием ругали угольный пласт. Не удивительно, что и помощники главного инженера (по планированию — Алябьев, по нормированию и зарплате — Ягодкина) не преминули пожаловаться на взбалмошный характер «Девятки». Но тут же, словно бы спохватившись, заговорили о пласте любовно. Что такое!

— Щедрый, могучий, богатый! Только сумей подойти, взять уголек!

— Это же целая четверть всей суточной шахтной добычи!

...Было это года три назад. Никому из опытных горняков идти на «Девятку» в начальники не хотелось. Они, старые подземные вояки, знают, что по своей воле переть на рожон — судьбу испытывать. А она у шахтеров с норовом, легких на слово не любит. Другое дело — приказ. Да и то положено поупрямиться.

Молодым, да ранним, готовым пойти на риск очертя голову, просто-напросто отказывали.

Шахта прихрамывала. Геологический надвиг, след какой-то доисторической подземной катастрофы, ломал все расчеты плановиков и нормировщиков. Утвержденные цифры требуют своего. А лавы свое гнут. Стихии закон не писан. Одна надежда на искусство и предусмотрительность горного надзора, на умение шахтеров вырвать добычу.

Прихрамывал и начальник шахты Трофимов: подвернул ногу в колдобине. Над ним подшучивали. Да и самому начальнику шутливое сопоставление казалось символическим. Третий день уже не был на шахте. Бюллетень. Прямо беда!..

Позвонил в партбюро.

— Владимир Ефимович? Ну как?.. С Сазоновым говорил?

— Лучше не найти, но...

— Что «но»?

— Упирается. По партийной линии прижать не могу, он же беспартийный...

Позвонил Михееву в шахтком:

— Сергей Владимирович? С Сазоновым говорил?

— Лучше не найти, но...

— Что «но»?

— С места не сдвинешь. На участке у него порядок, план перевыполняет, ни с какой стороны не подойдешь...

— Ну, ладно, сам разберусь!

В тот же день Трофимов пригласил Сазонова к себе домой. Начальник шахты, непривычно хмурясь, сидел на диване, вытянув укутанную в пуховый платок ногу. Дочь Трофимова играла на рояле, и отец молча слушал «Сентиментальный вальс» Чайковского.

Разговор с Сазоновым начался по-шахтерски, без дипломатической раскачки.

— Б-боишься «Девятки», Александр Михайлович? — слегка заикаясь, спросил Трофимов.

— Не то слово, Анатолий Иванович.

— Ирочка, выйди-ка, п-погуляй. Нам с дядей п-поговорить надо.

— Эх вы, ш-шахтер-ры...— зло проговорил Трофимов, когда Ирочка вышла.

— Пошлите на «Девятку» Михеева. Лучше его не найти. Я у него когда-то в помощниках ходил... Наверняка сработает... Он же первым на крутом пласте комбайн внедрил!

— Ага! З-завидуешь?

— Ну, и слова ж вы подбираете, Анатолий Иванович... Боишься... Завидуешь... Так же, как Михеев завидовал мне, когда я на «Мазурке» пожар тушил... У нас завидуют только тем, кому вареники сами в рот прыгают.

— Обиделся?

— Я как таксист... Что ни скажи—мне обижаться не положено.

— В-востер... Такому и «Девятка» по з-зубам! Уг-грызешь!

— Один не угрызу...

— Ага! Уже т-торгуешься! Ха-ха-ха! Значит, дело будет!

— С вами сейчас не поторгуйся, потом черта лысого выпросишь...

— Ладно. С-собирай своих мастеров г-горных искусств, дадим всего вдоволь: металл, лес, воздух, порожняк! Сказку, а не шахту тебе с-сделаем.

— Больно мягко стелете, Анатолий Иванович...

— Н-на слове ловишь?

— Поймал.

— А ведь п-поймал! Ха-ха-ха!

Исподволь брал Сазонов «Девятку». Через месяц суточная добыча была всего 250 тонн. А потом пошло: март — 320, апрель — 500, май — 550... Что ни месяц, то интересней! В июле уже давали по 750 тонн в сутки, было и по 1 000!..

Один из пунктов повестки дня состоявшегося вскоре заседания шахтного комитета показался особенно содержательным. Он гласил: «О присвоении участку номер 76 (пласт «Девятка») звания «Коллектив коммунистического труда».

Председательствующий лауреат Ленинской премии Сергей Владимирович Михеев едва успел поставить вопрос на голосование, как вскинулась целая роща загрубелых, в синих отметинах, жестких рабочих рук.

— А «Девятке»-то скоро каюк!— нарушил кто-то торжественность момента.— Два километра отвоевали, осталось метров семьсот. Куда ж тогда деваться Сазонову?

Тут же последовало предложение:

— Дать ему хороший участок!

— Правильно!

— Заслужил!

— Дать!

— Ну вот, зашумели-загудели провода...— поднялся Сазонов.— Хороший участок... Может, еще в сторожа на угольный склад определите?

— А если на «Мазурку»?

— Это еще подумать надо. Пласт музыкальный, ничего не скажешь... То стрельнет, то пламенем вспыхнет... Рано о нем пока... «Девятку» добивать надо.

Никто не сомневался, что Сазонов отдает дань шахтерскому обычаю немного поупрямиться перед трудным заданием.

О «Мазурке»-то заговорили неспроста. Знали, что Сазонов уже сейчас частенько бывает у проходчиков, присматривается, вмешивается, если заметит непорядок. Там, на «Мазурке», ждет и его и хлопцев с семьдесят шестого Коммунистического участка подвиг, который шахтеры, как и на «Девятке», наверняка будут называть просто работой.

Горловка,
шахта «Комсомолец».



Лейтенант Нгуен Ван Чи и инструктор

СЛУЖУ ВЬ

На занятиях по штурманской подготовке.



А. ГОЛИКОВ

Фото автора.



офицер В. М. Привалов перед вылетом.

Здание штаба и учебные корпуса стоят в парке. С аэродрома, приглушенный расстоянием, доносится гул реактивных двигателей. Небо перечеркнуто белыми клубящимися линиями — это следы, оставленные самолетами. Здесь, в одном из лучших в нашей стране военных авиационных училищ, занимаются летчики и авиационные специалисты, приехавшие в Советский Союз из Вьетнама.

Я живу вместе с летчиками из эскадрильи капитана Нгуен Ай Донга.

Мои соседи по комнате, кроме капитана,— лейтенант Хоанг Кан и младший лейтенант Нго Ши Нги. Хожу вместе с ними на занятия, в столовую, на аэродром.

Капитан Нгуен Ай Донг пользуется в эскадрилье непререкаемым авторитетом, и не только потому, что он командир. Капитан — отличный летчик, летает на многих типах самолетов.

— Я в армии уже двадцать лет,— рассказывает он.— Был пехотинцем в войсках Сопротивления — сражался с французскими колонизаторами. Потом стал летчиком и вот опять воюю, хотя войну не люблю. Но пока на нашей земле есть иностранные захватчики, оружия не сложу.

Нгуен Ай Донг строен, сухощав, быстр в движениях. Улыбка у него мальчишеская, белозубая. Но где-то в глубине глаз непроходящая настороженность, готовность к мгновенному действию. О своей жизни говорит с затаенной грустью:

— Женился поздно. Уже сорок лет, а дети еще маленькие. Двое, дочь и сын. Почти их не видел. Теперь эвакуированы в безопасный район. Дом разбомбили американцы. Благодаря помощи Советского Союза авиация агрессора несет все большие потери. Мы вашу помощь постоянно ощущаем. Во Вьетнаме летаем на русских самолетах. И здесь вот нас обучают летать на сверхзвуковых ракетоносцах.

Младший лейтенант Нго Ши Нги почти вдвое моложе своего командира. Он спокоен, нетороплив, когда говорит с кем-то, все время смотрит в глаза собеседнику.

— С нетерпением жду конца учебы и возвращения на родину,— сказал он и тут же пояснил: — Во-первых, чтобы скорее бить врага, и, во-вторых, надеюсь перед боями заскочить домой, посмотреть на сына, которого еще не видел. Родился он, когда я был на фронте. Сейчас ему уже девять месяцев.

Спрашиваю, участвовал ли младший лейтенант в воздушных боях. Нет, пока не участвовал. А лейтенант Хоан Кан уже имеет боевой опыт.

Почти все летчики эскадрильи Нгуен Ай Донга научились летать в здешнем училище, воевали и вот вернулись сюда, чтобы овладеть новой, более совершенной техникой. Они издают свой рукописный журнал «Дружба». Материалы в нем написаны по-русски и по-вьетнамски. В журнале я прочитал: «Наша дружба вечна и нерушима. Вьетнамцы всегда будут благодарны советским людям за бескорыстную помощь в тяжкие для них дни».

— Заметьте,— сказал мне командир эскадрильи,— речь идет не только о помощи, но и о дружбе. Ее здесь мы ощущаем полной мерой даже в мелочах. Например, в столовой повар изучает рецепты вьетнамских блюд, которые готовятся специально для нас.

...Земля вздрагивает от мощного грохота, и сверхзвуковой ракетоносец уходит в небо... Это учебная двухместная машина. В передней кабине — лейтенант Нгуен Ван Чи, а в задней — летчик-инструктор офицер Владимир Михайлович Привалов. Учебным полетам предшествовала тщательная тренировка на земле. Много раз Нгуен Ван Чи и его товарищи в классе «поднимались в небо», «перехватывали цель» и «возвращались на свой аэродром». Делали они это на специальном тренажере с пультом управления и счетно-решающими устройствами. С помощью сложной техники и имитации звуков у летчика на этом тренажере создавалось полное впечатление настоящего полета. Учились вьетнамские офицеры применять в воздушном бою управляемые ракеты и другое современное оружие.

Дожидаясь возвращения из полета учебной машины, разговариваю с офицером Николаем Васильевичем Задирихиным. Он тоже летчик-инструктор.

— Получил весточку из Вьетнама,— показывает мне письмо Николай Васильевич,— пишет мой бывший курсант лейтенант Нгуен Ван Мин. Сообщает, что участвует в боях, а его товарищи лейтенанты Нгы и Биеу, тоже наши воспитанники, уже сбили по одному американскому самолету. Хорошие они ребята, упорные, трудолюбивые.

ЕТНАМСКОМУ НАРОДУ!

Из Вьетнама прибыли новые курсанты.



— А когда ваши питомцы в воздухе, наверное, волнуетесь?

— Еще как! Ведь все обстоятельства предвидеть невозможно. Было, например, так. Полетели курсанты в зону отрабатывать технику пилотирования. Вдруг погода испортилась, и буквально в считанные минуты наш аэродром закрыла низкая облачность. А в воздухе были младшие лейтенанты Нгы и Хиеу. Для них посадка в таких условиях была весьма серьезным испытанием. Особенно я волновался за Хиеу. Он и еще два офицера прибыли к нам со значительным опозданием. А занимались по общей программе. Правда, занимались усердно и как будто успешно, но все-таки... И представьте себе, оба летчика сели отлично. Они точно вышли на приводную радиостанцию и безупречно выполнили маневр.

Серебристая машина мягко коснулась бетонной полосы. Из кабины вылезли летчики, похожие в высотных костюмах на космонавтов, сняли гермошлемы.

— Сегодня летали хорошо,— похвалил слушателя Привалов.

— Служу вьетнамскому народу! — ответил Нгуен Ван Чи и тихо добавил: — Спасибо вам, товарищ инструктор.

НА УЛИЦЕ ГЕГА

Ю. КОРНИЛОВ, А. КРАСИКОВ

В Триесте, древнем и шумном портовом городе, чьи дворцы и башни загляделись в голубые воды Адриатики, стоит на улице Гега старинный, потемневший от времени трехэтажный дом. Здесь размещается Триестская консерватория. Рядом банки, магазины, различные конторы и фирмы, потоки машин и спешащие пешеходы. Но нередко бывает так, что человек, проходя мимо старинного трехэтажного дома, остановится, снимет шапку и несколько минут стоит молча, глядя на золотисто-бронзовый, прикрепленный к стене венок...

— Этот венок связан с подвигом советских людей,— сказал нам маэстро Бруно Червенка, вице-директор консерватории, известный в Италии композитор.— Пройдите, я покажу вам, где это произошло...

Чернорубашечники, захватив власть, устроили здесь ночной бар под вывеской офицерского клуба. Потом их сменили боши: ведь когда режим Муссолини рухнул, Гитлер прислал в Триест своих головорезов. Здесь был офицерский ресторан с надписью «Итальянцам вход запрещен».

Холодным февральским вечером сюда входят в числе других два офицера. В руках одного из них брезентовая сумка. Эти офицеры ведут себя несколько необычно: они, например, неожиданно останавливаются на лестнице, чтобы поговорить о чем-то. Если бы хваленые «глаза и уши рейха»— гестаповцы понаблюдали за ними тогда, они увидели бы, как один офицер, заслоненный другим, нажал зубами на извлеченную из сумки ампулу, они услышали бы, как хрустнуло под медной оболочкой стекло. И вот уже химический состав разъедает тонкую проволочку, удерживающую пружину бойка, мина начала свою короткую жизнь. Офицеры же, как ни в чем не бывало, проходят в ресторан, требуют кофе, пьют вино, смеются. А потом они исчезают, забыв сумку под столом. Грохот взрыва оповещает жителей Триеста о том, что патриоты действуют...

Взрыв в ресторане поставил на ноги все гестапо, всю гитлеровскую разведку. Фашисты схватили несколько десятков жителей города, объявив их заложниками. Облавы следовали за облавами, кажется, не осталось дома, где бы не появлялись эсэсовцы в сопровождении представителей префектуры и шпиков из местных фашистов. Поиски ни к чему не привели, но операция «Прополка» должна была, по мнению врага, начисто исключить возможность диверсии. И вот тогда-то, всего месяц спустя после взрыва в ресторане, те двое в немецких мундирах вновь появились в городе — на этот раз в Обчине, на окраине Триеста, возле кинотеатра, где демонстрировались фильмы специально для немецких офицеров и солдат. Они вошли в зал, когда сеанс уже начался, и, не найдя свободных мест, довольно долго стояли за последним рядом, внимательно смотря на экран. Видимо, фильм показался им не таким уж интересным, и они покинули зал. Никто из зрителей не обратил на это внимания, никто не услышал, как заработал часовой механизм, установленный в мине замедленного действия. 150 гитлеровцев были убиты, а двое в немецких мундирах исчезли, будто растворились в ночи. Двое героев, чьи имена сейчас живут в нашей памяти и в наших сердцах,— товарищ Михайло и товарищ Иван...

Мы побывали на окраине Триеста, в поселке моряков и судостроителей, что раскинулся высоко над морем, на склонах крутой, каменистой, обожженной солнцем горы. Здесь в небольшом домике живет Слава Чебулетс, жена старого триестского моряка. Немногие знают, что ее в годы войны звали Катра — имя почти легендарное на триестских берегах. Это она, работница-ткачиха, стала в те годы бесстрашной разведчицей, за которой долго и тщетно охотилось гестапо. Это она совершала трудные переходы по горам и долинам, пересекая минные поля, пробираясь через занятые гитлеровцами городки и села, чтобы поддерживать регулярную связь между югославскими партизанскими соединениями и триестским подпольем. Это она помогала Михайле и Ивану.

— Настоящее имя товарища Михайлы — Мехти Гусейн-заде,— рассказывает Катра.— Он советский лейтенант, попавший в фашистский плен на берегах Дона и зимой 1943 года после долгих мытарств оказавшийся на юге Австрии, возле итало-югославской границы. В ту пору он бежал к партизанам приморской Словении. Новых людей в югославских партизанских бригадах проверяли тщательно, всесторонне. Мехти заявил, что он знаком с профессией минера, до войны он учился в Ленинградском институте иностранных языков и говорит по-немецки и по-французски. После этого ему дали задание — взорвать фашистский аэродром возле Горицни. Он переодел-

---

Василий НОЗДРЕВ



Память сердца

* * *

Поет ли иволгою звонко
Цветущая аллея лип,
Услышу ль,
Проходя сторонкой,
Калитки чуть приметный скрип,—
Дела, и думы,
И разлуки
Давно ушедших в вечность дней
Живые ль, неживые ль звуки
Рождают в памяти моей.

Установился между нами
Земле и мне понятный код,
Где связь с минувшими годами
Через цветы и звук идет.

* * *

Я помню дату роковую:
В бревенчатый отцовский дом
Учительницу молодую
Направил местный исполком.

Передо мной она предстала,
Но не сошедшею с холста,
А ландышем благоухала
Ее земная красота.
Глаза черничного настоя
И брови, как в стихах, вразлет
Не обещали мне покоя,
Но звали словно бы в полет.

Прошли года.
Как луг росою,
Виски покрыла седина.

Но лишь на миг глаза закрою —
И снова видится она.

* * *

Мне б только добежать до рощи,
Нырнуть в зеленый океан:
Ведь там все чище, там все
проще,
Там тысячи лекарств от ран.

Тропа все дальше увлекает
И вдруг теряется в глуши,
И постепенно нарастает
Спокойствие моей души.

И кажется мне малым, ложным
То, что убить могло порой:
Мелькает карликом ничтожным
Вчера давившее горой.
...Когда на сердце боль и тучи
И на душе темно, хоть плачь,
Бегу, тревожный, в лес дремучий:
Ведь он незаменимый врач.

ВЕСЕННЕЕ

Когда в лесу в разгаре тока
Поет черныш, взлетев на пень;
Когда зарею краснобокой,
Проснувшись, улыбнется день;
Когда кукушка, как цыганка,
Затараторит по слогам;
Когда звенит лесной тальянкой
Ручей, бегущий по лугам;
Когда стоит светло и чисто
Березок стройных белизна;
Когда из-под зеленых листьев
Глазами птиц глядит весна,—
Сбегает с плеч моих усталость,
Спеша в заломах умереть...

Мгновение — какая малость!
А я готов, как птица, петь.

НА РАССВЕТЕ ПОСЛЕ БУРИ

Полыхают дальние зарницы.
Спят деревни мирные кругом.
И в бору,
Где ягоды да птицы,
В тихих травах растворился гром.

Ветками загородив дорогу,
Дуб лежит — его и не обнять.
Растянулся богатырь у лога,
Так уснул, что никогда не встать.

Вот и солнце из-за гор шагнуло,
Желтой грудью навалясь на бор.
Утро молодое натянуло
Над землею солнечный шатер.

И в лесу,
Проснувшись рано-рано,
Солнце встало в огненной тиши,
У ромашек на крутых курганах
Слезы по утратам просушив.

* * *

Иду вдоль родниковой Ло́кши...
По берегам стоят стога.
Ручей лесной, ручей засохший
Морщиной пересек луга.

Все, что цвело и опылялось,
Вчера косой оголено.
Все, что росло и к солнцу
рва́лось,
Засушено и сметено.

Иду тихонько лугом чистым.
Взлетают кряквы ввысь свечой.

ся в немецкую форму и проник на аэродром — это была, кажется, первая из его отчаянно смелых вылазок в логово врага. Взрыв в Горицин явился лучшим, самым верным ключом к сердцам партизан — люди леса приняли Мехти в свою семью, и с тех пор он был всеобщим любимцем в бригаде. Если вы побываете в Югославии, то можете увидеть в словенском селе Чепавене, где Мехти погиб в рукопашном бою, памятник, поставленный ему бойцами. «Спи, наш любимый Мехти, твой живой подвиг во имя свободы навсегда останется в сердцах твоих друзей»,— выбито на камне, а возле всегда живые цветы.

Все мы, партизаны, от души порадовались, когда в 1957 году узнали, что нашему боевому другу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Но он герой не только Советской страны. Его по праву называют героем и в Словении и у нас, в Триесте,— золотой венок на улице Гега напоминает всем о подвигах, которые он совершил.

Она помолчала.

— О боевых делах товарища Михайлы и его друга Ивана Русского можно рассказывать очень много. Это они взорвали в Триесте редакцию фашистской газеты «Иль Пикколо», тяжело ранили фашистского карателя Пауля Кертнера, совершили налет на тюрьму в городе Удине и освободили несколько десятков советских военнопленных... Но Мехти был человеком не только беспримерной отваги и высокого мужества. Нас восхищала и покоряла его беспредельная любовь к советской Отчизне, к своей родине — Азербайджану. Мехти был человеком разносторонним и по-настоящему талантливым. В редкие часы затишья его, боевого начальника партизанской разведки, можно было видеть у самодельного мольберта: он хорошо рисовал, и особенно часто рисовал горы — они напоминали ему родные края. И стихи он писал чудесные. Помню, как ночью у костра, над которым свешивались темные лапы елей, он читал нам своим чуть глуховатым голосом лирические, проникновенные строчки:

Лицо луны плывущей
серебрится,
И облик твой в том отсвете
прекрасен.
Но, Адрия, в тебя мне не
влюбиться.
О, нет! Влюблен я беспредельно
в Каспий...

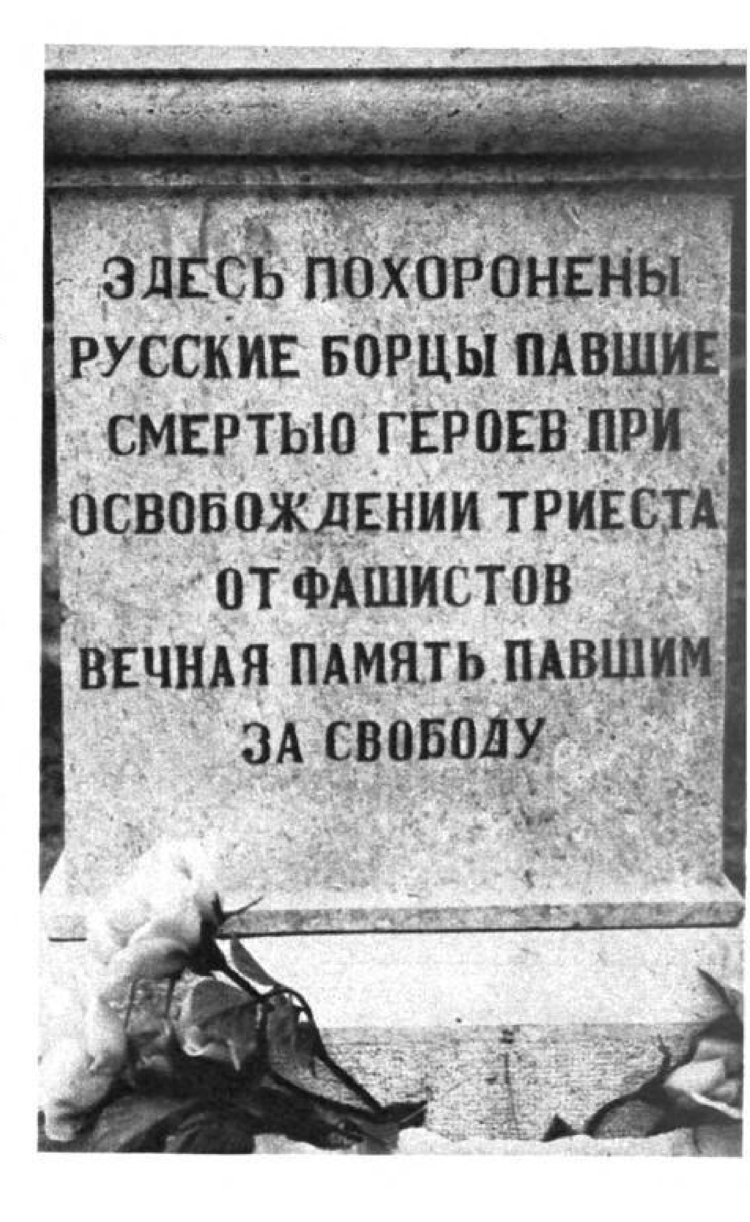
В 1958 году на советских экранах шел фильм «На дальних берегах». В этом фильме рассказывалось о советских людях, сражавшихся в годы войны на берегах Адриатики, в частности об отважном партизане-разведчике по имени Василий, совершившем немало славных подвигов во имя Родины и победы. Долгое время считалось, что отважного партизана нет в живых. Лишь недавно удалось установить, что Василий жив. Это житель Баку Мирдамат Сеидов, он же Иван Русский, боевой друг и помощник легендарного товарища Михайлы. Незадолго до поездки в Триест мы получили письмо от него:

«Если вы, товарищи журналисты, побываете на берегах Адриатики, в Триесте, пройдете по тем местам, где мы когда-то сражались с фашизмом,— передайте самый горячий привет славной разведчице Катре, всем боевым друзьям, которые помнят о нас, поклонитесь от нашего имени могилам павших партизан...»

...Все это припомнилось нам во время посещения старого дома на улице Гега. Маэстро Червенка, старомодный, в черном сюртуке, с черным бантом, вышел с нами на улицу, долго смотрел на золотисто-бронзовый венок на стене.

— У нас в Италии хорошо знают имя Федора Полетаева, русского героя, который сражался в Италии и пожертвовал жизнью во имя победы над фашизмом. Имена Михайлы и Ивана известны, к сожалению, меньше, а ведь это люди той же закалки... Вы говорите, Иван жив? Я не знаю, где находится этот город Баку, но я хотел бы побывать там, чтобы пожать ему руку!

Триест.
Италия.



Морщинится мой луг душистый
Осенней мудрой хитрецой.

* * *

В лесах пособрана черника,
И земляника отошла.
Но ты сказала мне:
— Смотри-ка,
Какие ягоды нашла!

Грибами пахло и брусникой,
Тянуло сыростью с болот.
Ты наполняла земляникой
Смеющийся упрямый рот.

И всё...
А сердце не забудет
Губ зрелых ягодный настой
И в поздний час,
Когда остудит
Зима их земляничный зной.

* * *

Когда на лес в ресницах снега,
Пробив громаду серых туч,
Вдруг брызнет яростно, с разбега,
Голубоватый солнца луч,

Все заискрится, засверкает
И в брызгах света оживет:
В лучах тепла на ветках тает
И снег, и изморозь, и лед.

Хочу, чтобы со мной так сталось:
Прорезав тучи бытия,
Согнало б с седины усталость
Тепло — поэзия моя.

В ЛЕЙПЦИГЕ

Здесь память сердца сберегла
Казаков подвиги лихие.
Под памятник
Земля легла
С далекой Родины — России.

Я слышу предков голоса
И вижу,
Как, минуя броды,
Через болота,
Сквозь леса
С родной землей идут подводы.

Как надо Родину любить,
Чтить воинов,
Что в битвах пали,
Чтоб землю на волах тащить
В бескрайние чужие дали!

* * *

Зело ученый муж изрек:
Без плана нет вперед движенья.
Ему, наверно, невдомек,
Что к правилу есть исключенье:
Любовь и горе выше нас
И неподведомственны плану.
Так было в прошлом,
и сейчас,
И в дни,
когда я в вечность кану.

* * *

Сравню ль криничное оконце,
Грозу,
Что прячет в тучах солнце,
И тот спокойный водоем
С ракетой,
Что рождает гром?

Куда там!
И в краю росистом
Предпочитаем мы с тобой
Лесной ручей прозрачно-чистый
Трубе
С напористой водой.

И в нашей жизни бесконечно
Для всех — и взрослых и детей —
Милее сердцу будет вечно
Весенний гром,
Лесной ручей.

ЗЕНИТ

Жизнь увлекающим потоком
Забросила меня в зенит...

Отсюда
Видно, как далёко
Дорога в прошлое бежит.

Отсюда видно превосходно
Тот путь, что трудно проторял:
Здесь делал я маневр обходный,
Здесь прямо шел, а здесь петлял.

И радуют меня высоты,
С которыми не унывал.
Печалят пади и болота,
Где я тонул и буксовал.

И все-таки никто на свете
Не в силах прошлых лет вернуть.

Но в наших силах,
Чтобы дети
Прямой избрали в жизни путь.

ПОТОМКУ

Историку других столетий
Нас будет нелегко понять,
Как мы, времен суровых дети,
Умели в жизни так дерзать.
В песках пустынь,
Во льдах Чукотки
Выращивали мы сады
И умирали от чахотки,
Оставив правнукам плоды.
Бывало, мы недоедали,
Но не сдавались никогда.
От нас к планетам стартовали
Ракет калужских поезда.

СТАРЫЙ ОХОТНИК

Он угощал гостей чайком
И балагурил без умолку,
А сам курил, вздыхал тайком
И гладил старую двустволку.

Вокруг на стенах чучела,
У ног собака — друг скитаний,
Так стали прошлого дела
Теплом его воспоминаний.

Мы уходили в лес гуськом,
Нагруженные рюкзаками,
И возвращались снова в дом,
Обвешанные беляками.

Он приглашал нас на крыльцо,
Как будто с фронта встретил сына,
И прятал мокрое лицо
В пропахший лесом мех звериный.



КАКАЯ ТЫ, ИЖМА?

Г. КОПОСОВ, О. КУПРИН

Лазарь Михайлович Артеев сидит на скамейке подле своего дома. Скамейку поставили специально для него у самого речного обрыва. Видна отсюда и почти вся его родная Ижма, и села за рекой, и памятник на взгорье, в окружении высоких сосен, которые сажал Артеев, когда был еще молодым. Сейчас Лазарю Михайловичу 85 лет.

— Мужиков старше меня в Ижме нет,— говорит он,— женщины есть постарше.

Разговор мы ведем об истории Печорского края, потому что многое в Ижме напоминает о ней, особенно когда ходишь по селу с Иваном Федоровичем Ануфриевым, главным ижемским историком, создателем и хранителем сельского краеведческого музея. Он и привел нас к Артееву.

— Дому этому,— Артеев показывает никелированной ручкой палки на свой дом,— нынче исполнилось сто пятьдесят три года. Старое наше село.

Село действительно старое. В будущем году оно отметит два праздника. Один, самый большой, общий наш праздник — полвека Советской власти. Второй — свой, местный: Ижме исполнится 400 лет. Первое упоминание о ней в летописи относится к 1567 году.

И вот что интересно: первые Советы в Печорском крае возникли здесь, в Ижемском районе. Произошло это зимой 1918 года. Вернее, началось в восемнадца-



Лазарь Михайлович Артеев, красный партизан.

Тихий рассвет на сельской улице, где в девятнадцатом гремели бои.



Таня Семяшкина, почтальон:
— Ни одного двора не обхожу стороной, в каждом доме у нас подписчики.

Центральная улица.

Кино повезли.



Ижемский хор. К соседям на гастроли.

Модная забава.

том. Первый председатель Совета, большевик Н. И. Зыков, занимал этот пост всего несколько месяцев. Кулацкая банда расправилась с ним 27 мая. Он первый отдал жизнь за Советскую власть в глухом Печорском крае. На смену ему пришли другие, и летопись революции сохранила их фамилии: Артеевы, Каневы, Семяшкины, Чупровы...

Самый крупный бой грянул в Ижме 30 декабря 1918 года. Белые на оленях и лошадях незаметно подошли к селу. Белых было в три раза больше, чем красных. Они без выстрела сняли часовых и глубокой ночью окружили дом, где разместился штаб партизан. Два с половиной часа длился бой. Партизаны отстреливались из окон штаба, из хлевов, с сеновалов. Утром белые отступили. Артеевы, Каневы, Семяшкины, Чупровы в ту предновогоднюю ночь отстояли Советскую власть в своем селе. Но многие погибли — и раньше, и в ту ночь, и после той ночи. Белые не расстреливали партизан, когда те попадали к ним в лапы. В Ижме был свой способ расправы: раздевали догола и опускали в прорубь.

Мимо скамейки, где мы сидим с Лазарем Михайловичем Артеевым, то и дело проносится мотоцикл с двумя седоками.

— Внук правнука катает,— объясняет Артеев.— Правнуков у меня двадцать. Могло быть больше. Три сына погибли на войне с фашистами. Сейчас-то хорошо живем.— Артеев опирается седым подбородком на никелированную ручку палки и смотрит туда, где врезается в небо темная пирамида памятника, поставленная на речном откосе в честь друзей его молодости.

Мы ушли. Он остался один на своей скамейке, задумчивый, красивый старик. Вслушивался, всматривался в древнюю и совсем новую свою Ижму. Быть может, что-то вспоминал.

Мы идем через село в краеведческий музей. Главный историк Ижмы Иван Федорович Ануфриев — отличный экскурсовод, знает послужной список каждого дома.

— Вот в этом двухэтажном купец богатый жил. Имел в Париже магазины. Семгой торговал и замшей. Что с ним потом стало, не знаю. А в доме нынче детский сад. Тепло там зимой. Между бревнами и обшивкой олений мех проложен.

На здании рядом с табличкой— райком партии — привинчена доска: «Здесь помещался штаб красных партизан».

— Это тут был бой в восемнадцатом?

— Тут. Белые со стороны теперешнего исполкомовского крыльца подошли.

Главный ижемский историк сейчас на пенсии. Сорок лет учительствовал в этих краях, преподавал литературу, а увлекался историей. Помощников у него много. В школе есть отряд следопытов. После каждого похода в музее прибавляются еще несколько экспонатов. Мы видели два альбома следопытов. В одном — портреты и записи бесед с бывшими красными партизанами, другой посвящен первым ижемским пионерам.

Краеведческий музей занимает три комнатки в Доме пионеров. Тесно. Многие интересные экспонаты не выставлены. А чего только нет в музее! Фотографии Ижмы начала века, сделанные политическими ссыльными. Древние орудия для обработки оленьих шкур. Пятидесятикилограммовый мамонтовый клык — подарок археологов, которым музей и друг и помощник. На столе чучело лисицы — подарок колхоза «Путь Ленина». Ануфриев достает пакетик нафталина, посыпает роскошную чернобурку.

На стене под стеклом — простреленный и залитый кровью комсомольский билет Михаила Семяшкина. Пуля пробила этот билет 8 мая 1945 года в Германии— так написано на стенде. Мы долго молча стоим у этого экспоната, пришедшего из поверженной фашистской Германии в далекое село в Коми АССР.

— Это я у него выпросил для музея,— после долгой паузы говорит Иван Федорович.

— У кого, у него? — не поняли мы.

— У Михаила Федоровича. Он у нас начальник орса.

Начальника орса Ижемского леспромхоза Михаила Федоровича Семяшкина мы застали в его кабинете. Белый телефон на столе каждые пять минут взрывался звонком. То речь шла о каких-то накладных, то о загрузке лодки, отправляющейся в дальние лесопункты. Хозяйство у Семяшкина большое — 22 магазина, 4 столовые и 5 пекарен. И все на участке 240 километров, где главный транспорт — лодки.

— Последнее ранение — это на Эльбе. Готовились к встрече с союзниками. Я артиллеристом был, так мы пушки в сосновом бору устанавливали для парада. — Да нет же, я говорю, сливочное масло...— это в белый телефон.

— ...Ну и, видно, плохо прочесали: на дереве фашист затаился, снайпер, наверное. Выстрела я не слышал.

— Помидоры будут, прибыли помидоры.— Опять неугомонный телефон.

— ...Пуля прошла навылет чуть ниже сердца. Как раз через карман гимнастерки. Пробила кандидатскую карточку, комсомольский билет и армейскую книжку. Комсомольский билет мне оставили, потому что я был комсоргом батареи...

— Машина к реке пошла. Да, сейчас будет. Можно грузить. Да, сливочное масло! Сколько можно повторять!— Белая трубка легла наконец на свое место.

— Это было не первое ранение. Первое под Ленинградом, когда блокаду снимали. В первый день наступления. И второе там же. Отец у меня умер до войны от раны. Ему в гражданскую пуля тоже в грудь попала. Потом он был первым завом УОНО.

— Ясно, ясно. Раз нужно, значит, нужно. Детям тем более. Посылаю конфеты...

Так и не дал телефон нам спокойно поговорить. Правда, узнали мы, что после войны служил Семяшкин в комендатуре Берлина, что потом до дому ехал целый месяц. Это сейчас из Ижмы до Москвы можно добраться меньше чем за сутки.

Пожалуй, лучше других путь в Москву знаком ижемскому хору. В столицу ижемские певцы ездили не раз, они лауреаты многих смотров, конкурсов и фестивалей. Историю свою хор ведет от 1946 года, когда приехал в Ижму демобилизованный разведчик Глеб Семяшкин. Сначала он собрал вокальную группу, потом хор. А позже, начиная с 1950 года, были и дипломы, и призы, и медали. И звание заслуженного артиста Коми АССР художественному руководителю хора Глебу Васильевичу Семяшкину.

Накануне сельские артисты вернулись из Сыктывкара: выступали на концерте, посвященном вручению республике ордена Ленина. Приехали все расстроенные. Концерт прошел хорошо, зрители долго не отпускали ижемцев со сцены, скандировали: «Пе-чо-ру! Пе-чо-ру!» Просили исполнить песню Глеба Семяшкина «На берегах Печоры». А тут, как назло, у солиста пропал голос. Вызывали «Скорую помощь», возили в больницу, сделали укол — напрасно. Так и не спели «Печору»!

Мы слышали эту песню, когда плыли на теплоходе по реке, которой песня и посвящается. Агитбригада Дома культуры отправилась в дальнее путешествие. В тундру, к землякам-оленеводам. Плыла над широкой рекой раздольная песня.

Вот свежие сельские новости:

Андрей Канев — отцу Александру Андреевичу:

— Здравствуй, папа. Как ты живешь? Я скоро пойду в школу, в шестой класс. Все лето я работал пастухом, а со вчерашнего дня работаю конюхом. У нас новостей особых нет. Купили стиральную машину.

Екатерина Ефимовна Чупрова— братьям Егору и Василию:

— Егор, Ва-ась, здравствуйте! Дети здоровы. Дома ваши строятся. У Егора — подвели под крышу, сегодня ставили конек, у Васи кончили с фундаментом.

Михаил Артеев — отцу Александру Акимовичу и матери Александре Прокопьевне:

— Пока был с вами в тундре, из военкомата повестка пришла. Вероятно, через месяц в армию призовут. А пока я шофером работаю. Сегодня на техуходе стою. Брат Вася на сенокосе, посылают его учиться на автослесаря.

А Коля Вокуев так ничего и не сказал в микрофон. Он недавно приехал от родителей из тундры, поступать в школу, в первый класс. Прошептал только: «Папа, мама...» И заплакал. Соскучился парнишка.

Несколько катушек магнитофонной пленки с сельскими новостями тоже в багаже агитбригады. И много песен и частушек.



Замученным, расстрелянным, погибшим — этот памятник над рекой.

Концертов хор дает много. В прошлом году их было 89. А летом обязательно одна поездка в тундру. На этот раз она особенно тяжелая, в прямом смысле слова тяжелая. Много багажа. Взяли с собой кинопередвижку, два художественных фильма и несколько своих, производства ижемской сельской киностудии — есть и такая при Доме культуры. Пусть оленеводы узнают, как живет родное село, не только по рассказам.

Впрочем, рассказы будут тоже необычные. Накануне отъезда агитбригады мы ездили с работником райкома партии Кимом Кушмановым по окрестным селам, собирали последние новости. Происходило это так. В правлении колхоза «Заветы Ильича» поставили магнитофон. Широко открыли дверь. Пожалуйста! Кто хочет что-нибудь сказать мужу, отцу или сыну, заходите! Записали несколько пленок.

Когда мы уезжали из Ижмы, было холодно. Ветер гнал по реке мелкую волну. На скамеечке у обрыва по-прежнему сидел Лазарь Михайлович Артеев. Сидел, опершись на неизменную свою палку, снова и снова всматривался и вслушивался в свое родное село. Какая ты нынче, Ижма?

Внизу, на причале, резвятся девчонки, крутят хулахупные кольца. Пропылил «газик», на дверце крупно написано «Кино», поехал за новым фильмом. По деревянному тротуару процокали каблучки-гвоздики. В Доме культуры сегодня концерт Ленинградской филармонии.

Четыре столетия стоит на берегу реки село Ижма. Живут здесь Артеевы, Каневы, Семяшкины, Чупровы — дети, внуки и правнуки тех, кто дрался тут за Советскую власть.



Короткая встреча с Александром

Борис ПОЛЕВОЙ

Хочется рассказать сейчас об одном из самых памятных для меня дней этого года. Нет-нет, ничего сенсационного. Обычный яркий предосенний крымский день. Солнце палит вовсю. Синева неба сливается с синевой моря. Над всхолмленной равниной, вернее, над ярко-зелеными виноградниками, ибо голых равнин в этом краю вот уже несколько лет как нет, зыбится густое, студенистое марево. Невысокие, пологие горы вырисовываются на горизонте так четко, что кажется: протяни руку — и можно погладить их по скалистым, серым лысинам. Молодая, благоустроенная и очень трудовая дорога. Вереницами несутся самосвалы с золотой пшеницей. В огромных грузовиках девушки и подростки с песнями едут на совхозные виноградники. Несколько запыленных такси, битком набитых курортниками, обгоняют наш микроавтобус.

— Это туда, в Старый Крым, к нему... Поздно выехали, долго ждать придется,— говорит водитель, у которого на лице бронзовый крымский загар резко контрастирует с белесым льняным чубом.

— Ну вот, видишь, я же говорил, что надо выезжать раньше. Знаешь, там сколько всегда народу! — волнуется мой младший сын, главный инициатор этой экскурсии. Дочь, студентка, умеющая прятать упреки в достойном и многозначительном молчании, лишь укоризненно смотрит на меня. Друзья вежливо улыбаются.

Действительно, чтобы не нарушать санаторный режим, выехали мы поздновато. Но, зная музейные правила, я, признаться, не очень беспокоился, ибо впереди был целый день. И ах как здорово просчитался! Но об этом потом, а пока я сообщу, что едем мы по феодосийскому шоссе, едем в Старый Крым, в самодеятельный музейчик, который в этих краях интимно именуется Домиком Грина, едем в обычный, будний день, ибо нам уже сообщили, что в воскресенье пришлось бы долго ждать очереди.

Александр Грин — одно из самых своеобразных имен в советской литературе. Есть писатели, известность которых вспыхивает мгновенно, горит шумно, ярко, как береста в костре. И так же быстро догорает. А бывает наоборот: известность разгорается исподволь, неторопливо, но зато потом, часто после смерти творца, обретает прочную, спокойную яркость. Такова творческая биография Александра Гриневского, Грина, писателя, выпустившего еще в 1906 году первую книгу рассказов «Шапка-невидимка», много потрудившегося в советское время, не очень широко известного при жизни, умершего в 1932 году, слава которого разгорелась во всю силу только сейчас, в середине шестидесятых годов.

Нет, нет, и мое поколение, сейчас уже приближающееся к пенсионному возрасту, читало его книги. С интересом, с увлечением читало, ибо советский человек уже в силу своих идей ценит все лучшее, что рождает искусство, любит искреннюю, неподдельную романтику, благородство чувств, смелые мечтания, самоотверженность и веру в победу разума и света. Он с презрением отвергает суперменство в любой его форме, но верит в Человека с большой буквы и на этой вере в Человека, в сущности, и основывает все свои планы и свершения. И раньше, когда, увы, и в очень солидных изданиях про Грина писалось, что он «...в своих произведениях послеоктябрьского периода противопоставляет реальной советской действительности... своего рода вненациональный космополитический «рай», ...воспевает сверхчеловека ницшеанского типа», даже и в этот период вопреки подобным вульгарно-социологическим умствованиям критиков-начетчиков люди с интересом читали его книги и, читая, возносились на романтических алых парусах своей очень реалистической, облаченной в цифры пятилеток фантазии. Каким же мелким и жалким вздором кажутся подобные статьи и статейки о Грине сейчас, когда советский человек в величайшей из войн свернул шею объединенным силам фашизма, забросил в космос первый спутник, открыл людям дорогу в межзвездное пространство и первым шагнул в открытый космос, сам став на недолгое время живым спутником Земли!..

Обо всем этом невольно думалось по пути в Старый Крым, туда, где скромно жил, много работал, где умер и где погребен этот своеобразный писатель, которому суждено лишь посмертно пожинать заслуженную славу. Грин всю жизнь мечтал о дальних странствиях и лишь однажды предпринял короткое морское путешествие. Сейчас «Александр Грин» — большой современный корабль — бороздит воды морей мира. Книги писателя издаются и переиздаются на десятках языков в Советском Союзе и далеко за его рубежами. Недавно предпринятое «Огоньком» издание собрания сочинений А. Грина в шести томах, издание с отличными иллюстрациями и недешевое по цене, разошлось почти мгновенно.

Ну вот на дороге и надпись: «Старый Крым». Маленький, очень тихий южный городок. На улицах никого, лишь петухи лениво перекликаются через заборы и пыль стелется рыжим лисьим хвостом вслед нашему микроавтобусу. Возле одной из калиток пестрая толпа. Толпа-очередь, в которой вперемежку и загорелые курортники в шортах, и матросы в праздничной щеголеватой форме, и пионеры в наутюженных костюмчиках и галстуках, и какой-то загорелый дядек в широком соломенном бриле с двумя маленькими ребятами.

— Ну, видишь, опоздали. Я же говорил,— волнуется мой сын.

— Ничего, займем очередь и съездим пока на могилку,— примиряюще говорит шофер, которому не впервые возить сюда интересующихся творчеством Грина.

Занимаем очередь и едем за город на старое кладбище, где среди других скромных могил, мало чем отличаясь от них, и могила писателя. Продолговатый холмик, цементное надгробие с мраморной дощечкой. Железная оградка. Но над могилой этой раскинула ветви узловатая алыча — из тех, что растут на склонах гор, простое красивое дерево. Удивительное дерево, потому что, кроме маленьких продолговатых плодов, оно, как новогодняя елка, украшено пионерскими галстуками, высохшими букетиками цветов, какими-то пестрыми шарфиками. Все это тоже, как плоды, свисает с ветвей над стандартным надгробием, с которого с фотографии смотрит худощавый человек с болезненным лицом, с неистовыми, требовательными глазами.

«А. Грин» — это факсимиле врезано в камень памятника. И сразу становятся объяснимыми все столь необычные украшения, свисающие с ветвей старой алычи. Шофер рассказывает: долго не было ни оградки, ни надгробия. Над могилкой склонялась лишь эта алыча, выросшая, так сказать, по собственной инициативе. Но тропка, ведущая сюда, не зарастала и тогда... Народная тропа... За час, пока мы были на старом кладбище, к могиле под дикой сливой пришло несколько экскурсий. Люди все время толпились вокруг, сидели на скамеечке, так что сын едва улучил момент, чтобы сфотографировать надгробие.

И у домика на тихой, заросшей травой улице тоже не иссякает этот человеческий поток. Опытный крымский шофер как-то точно высчитал движение людей через музей, и, когда мы сюда приехали часа через полтора, как раз и подходила наша очередь. Калитка привела в садик, к домику, смотрящему на улицу единственным окном. Приземистый, чисто выбеленный, он весь утопал в южной зелени, и не человеческая рука, а рука природы окружила гроздьями винограда мемориальную доску, говорящую о том, что здесь жил и работал писатель Александр Степанович Грин. И все.

А дальше было все, как в здешних старокрымских домах: узенькая прихожая, из нее ходок в маленькую кухню, которая на лето переносилась во двор, и другой, ведущий к двери в небольшую комнату, смотрящую своим окном в зеленый палисадник. Вдова писателя сохранила в неприкосновенности всю обстановку — ломберный столик, закапанный чернилами, стулья. Стопки книг. На стенах несколько фотографий. Шхуна с алыми парусами — самодельный дар пионеров. Книги, книги — произведения Грина, изданные в разных советских республиках и зарубежных странах.

Кажется, что тут глядеть? Но люди стоят, смотрят, думают. Слушают рассказы вдовы писателя, которая стала добровольным гидом в этом самодеятельном музейчике. И сразу как-то попадаешь в плен к этому общему настроению. Начинаешь присматриваться к этим крохотным комнаткам, к их вытертым подошвами полам, к потоку людей. И вдруг как-то по-новому думаешь и об «Алых парусах» и о «Бегущей по волнам». И особенно о поэтических образах, рожденных в этой комнатенке.

Смотрю на дочь и на сына. Вижу, волнуются. Искреннее волнение. Сын осторожно, я бы даже сказал, почтительно, фотографирует письменный стол писателя, стул, старые портреты на стенах. Сейчас, когда «Алые паруса» ши-

МЕРИДИАНЫ, СОБЫТИЯ...

Перед нами — книга автором которой отнюдь не является писатель или профессиональный журналист. Автор книги Владимир Кованов в годы Великой Отечественной войны был рядовым армейским врачом. Перед его глазами прошли страшные страницы войны — страдания раненых, которым он возвращал жизнь. Сам Кованов тоже не избежал вражеских пуль, одна из которых повредила ему ногу. Отдав себя беззаветному служению самой гуманной человеческой профессии — медицине, Владимир Кованов стал доктором медицинских наук, профессором, действительным членом Академии медицинских наук СССР.

Но ученый Кованов не изолировался от жизни у себя в лаборатории или кабинете. Общественность избрала его членом Президиума и секретарем Советского комитета защиты мира. Владимир Васильевич Кованов — хирург-экспериментатор и общественный деятель — побывал на различных континентах, принимал участие в международных научных конференциях, в конгрессах борцов за мир.

Очерки Кованова захватывают читателя, который узнает из них много нового и интересного. Автор считает, что наука в наше время способна творить чудеса, но для этого необходимо защитить мир, дать решительный отпор силам империалистической реакции, разжигающей пламя военных конфликтов, стремящейся преградить человечеству путь к прогрессу, свободе, счастью.

Описывая встречи с английскими медиками, он справедливо замечает, что наука никогда не была ограничена интересами какой-либо одной нации или государства. Беседы автора книги с английскими коллегами убеждают последних в необходимости развития советско-английских контактов в области науки и культуры, что, несомненно, создает предпосылки и для улучшения климата политических отношений между двумя крупнейшими европейскими державами.

Пакистан, Индонезия, Югославия и другие страны живо представлены читателям книги.

В Швейцарии автор совершает путешествие по ленинским местам, где работал Ильич, где он написал свой знаменитый труд «Материализм и эмпириокритицизм». «Кто знает,— пишет Кованов,— может быть, именно здесь, в Швейцарии, у Ильича, терпевшего лишения и нужду, изнурявшего себя непосильной работой, впервые легла на кровеносные сосуды тень будущей тяжелой болезни...»

В Швейцарии же автор встречается с участниками антиатомного движения, возглавляемого пастором Кобе, с видным общественным деятелем Бухбиндером, который выступает за быстрейшее проведение конференции, посвященной европейской безопасности. Он встречался с известным юристом и общественным деятелем Швейцарии Хабихтом, который был в числе цюрихских студентов, провожавших Владимира Ильича на вокзал.

В США осенью 1962 года состоялась встреча деятелей советской культуры за круглым столом с представителями интеллектуального и делового мира Америки. Как раз в это время угрожающий характер для судеб всего мира принимал кризис в районе Карибского

В. Кованов. Меридианы, события, встречи. Политиздат. М., 1966.

роко распущены на афишах оперных театров, когда этим именем называются комсомольские клубы и заглавие романа стало как бы символом юношеской мечты, волнение это понятно. С тем большей досадой вспоминаешь читанные когда-то критические статьи о том, что писатель будто бы старался противопоставить советской действительности свою «страну-мечту» с несуществующими экзотическими городами Зурбаган и Гель-Гью. Как жалко звучат эти ложно-многозначительные слова перед громадами изданий и переизданий, перед действительной народной славой и непрерывным током посетителей через вот эту скромную комнату! Но, к сожалению, и пусть это прозвучит упреком культурным организациям Симферополя и Феодосии, эти вздорные слова, по-видимому, еще имеют силу. Несмотря на свою популярность, среди крымчаков и курортников, Домик Грина лишь формально объявлен филиалом Феодосийского музея. Он существует попечениями вдовы писателя, живущей на очень скромную литфондовскую пенсию. На могиле,

Грином

столь широко посещаемой, нет сейчас хотя бы скромного бюста писателя.

С точки зрения памяти Грина это, может быть, и несущественно. Старая алыча, украшенная пионерскими галстуками и шарфиками, посильнее мрамора и бронзы. Могут ли быть более выразительные монументы, чем собрание сочинений, издающееся в одном из крупнейших советских издательств? Да и в самом домике, если приглядеться, не так уж бедно. Вот дивный портрет, нарисованный его землячкой — медицинской сестрой по профессии. Вот на стене матросский воротник, имеющий историю, вполне достойную автора «Алых парусов». В прошлом году судно, вернувшееся из дальнего плавания, ошвартовалось у пирса в Феодосии. Моряки, желая посетить этот домик, сложились на огромный венок из роз. Но один из них отстал от группы. Он схватил такси и примчался сюда позже своих товарищей. Венок был уже возложен. А моряк не хотел отставать от друзей, уже выразивших уважение писателю. Что будешь делать? Он снял с парадной гимнастерки свой флотский синий воротник и отдал его как дар памяти. Теперь этот воротник прикреплен к стене. Кто-то из посетителей прикрепил к нему первый значок. Теперь матросский воротник сплошь покрыт значками — советскими, чехословацкими, польскими, вьетнамскими и иными — значками многих стран, люди которых посетили этот скромный, до обидного скромный музей.

Но это, в сущности, пустяки. Все придет в свое время. Можно быть уверенным, что рано или поздно и крымские организации воздадут должное памяти писателя. Как воздало ему Советское правительство, присвоив его имя большому и красивому океанскому кораблю. А пока что и без этого не зарастает народная тропа, ведущая к маленькому домику, ибо никогда не иссякнет потребность советских людей в высокой, вдохновляющей романтике, в чистом, воинствующем гуманизме, в алых парусах мечты.

Вот что захотелось мне сказать после короткого свидания с Александром Грином на тихой, заросшей травой улице Старого Крыма в один из предосенних дней.



Домик Александра Грина.

Фото Алексея Полевого

моря. «Что и говорить,— пишет автор,— обстановка для диалога о сосуществовании, о культурных, научных и иных контактах, который велся в актовом зале Андоверского колледжа, была, мягко выражаясь, малоподходящей. И все-таки мы продолжали свои собеседования».

Чистосердечно описывает автор свои встречи с американцами, с сожалением отмечая, что многие из них имеют крайне ограниченное представление о том, что происходит в мире, какую политику проводит СССР.

Но вместе с тем автор верит в разум и совесть американского народа, в то, что его лучшие сыны найдут в себе волю и решимость дать отпор «бешеным» всех мастей и вывести страну на путь тех великих традиций, которые завещали ей Линкольн, Джефферсон, Рузвельт.

Автор книги побывал в стране, к которой сегодня прикованы взоры всего человечества,— в героическом Вьетнаме. Он описывает самоотверженный труд и мужественную борьбу вьетнамского народа.

С волнением автор рассказывает о массовом героизме народа, о бойцах, взрывающих себя вместе с танком противника, о двенадцатилетнем мальчике, который облил себя керосином, живым факелом пронесся по гарнизону интервентов и поджег склад с горючим, об отважном воине Фан Дине, повторившем подвиг Александра Матросова.

Могучее движение за мир, объединяющее в своих рядах всех людей доброй воли, набирает силы, крепчает. Сила этого движения в том, что она объединяет людей всех стран, желающих отдать все свои силы благородному служению светлым идеалам мира. Нет сомнения в том, что читатели тепло примут книгу Владимира Кованова.

Н. ПАСТУХОВ,
секретарь Советского комитета защиты мира

Под грохот войны

В книге Клары Ларионовой «Московское воскресенье» две повести, и обе они посвящены подвигам советских людей в грозные годы Великой Отечественной войны, их выдержке, моральной чистоте, стойкости и невиданному в истории героизму.

Прежде всего хочется остановиться на первой — «Московское воскресенье», которая дала название всему сборнику. Повесть оригинальна по замыслу. Автор показывает драматические события тех дней сквозь призму миросозерцания московской интеллигенции: профессора-хирурга Сергея Сергеевича Строгова; его сыновей: Евгения Строгова — известного музыканта, впоследствии воина-офицера, Дмитрия Строгова — инженера оборонного завода, затем тоже офицера; его дочери Оксаны — художницы, ставшей медицинской сестрой...

Но самое важное заключается в том, что писательница хорошо знает, какой была столица в описываемые дни, какие чувства и мысли волновали в ту трудную осень ее жителей и в первую очередь представителей интеллигенции. Острый сюжет повести, стремительное развитие событий позволили автору создать интересные, колоритные по своему характеру образы. Смелые идут на врага, трусливые бегут, спасая шкуру. Погибают храбрые, щедрые душою люди, но такие же храбрые люди отбивают врага. И чувство победы — главное чувство повести — прочно остается в сознании читателей.

Подвигу девушек и женщин Советской страны, ставших в годы войны солдатами, посвящена вторая повесть К. Ларионовой — «Звездная дорога». Это правдивая и увлекательная летопись о том, как создавались по призыву Героя Советского Союза Марины Михайловны Расковой полки ночных бомбардировщиков из добровольцев — девушек и женщин.

Новая книга К. Ларионовой «Московское воскресенье» написана просто, свободно, она охватывает и дни горя и дни победоносного наступления. Автор показывает ошибки и рост своих героев, понимает всю тяжесть и величие их подвига, тем самым заставляет и читателя полюбить и понять этих простых и храбрых людей.

С. МИХАЯЛОВ

К. Ларионова «Московское воскресенье». Воениздат, 1966.

•

ПАРЕНЬ ИЗ ДЮССЕЛЬДОРФА

Новая повесть Н. Тихонова «Зеленая тьма» привлекает каким-то необычным изяществом письма, тонким рисунком душевного состояния, даже смятения ее главного героя Отто Мюллера из Дюссельдорфа, попавшего в экзотическую Бирму за несколько часов необременительного полета на комфортабельном самолете. В сущности, это — разоблачительное произведение, срывающее благопристойные покровы с неоколониалистских мечтаний тех, кто спит и видит мир зажатым в железные клещи политической и экономической зависимости. И в этом смысле сугубо подстрекательски звучат рекомендации матерого захватчика Ганса фон Дитриха, которыми он оснащает своего племянника Отто перед мирным вторжением в «желтую Азию». Здесь и сладкие слова о «высокой миссии» белого человека и непременное напоминание о «родной истории» и «родных традициях». Ганс фон Дитрих по-джентльменски опрятно формулирует методику оседлания облюбованной страны: «Придуши, но мягко».

Вот с такой отнюдь не мирной «начинкой» отправляется помогать «выродившимся народам» Отто Мюллер, здоровый, кровь с молоком, парень, не ведающий ни колебаний, ни сомнений. И летит Отто как бы выпущенным из пращи стародавних инстинктов рыцарей «огня и меча». Путь его прям и предначертан. И вот мы видим, как этот неукоснительно вычерченный путь начинает менять направление, сообразуясь с поправками на время.

Н. Тихонов сталкивает своего героя с такой реальностью, которая почему-то никак не хочет признать рекомендации старого Дитриха. Отто, парень кровь с молоком, начинает терять душевное равновесие. У него, должно быть, такое ощущение, будто все эти «традиции» и «миссии» — просто плохо сшитый костюм, причем надетый не по сезону и не по климату. Все недоумение и вся неловкость Отто показаны автором так естественно, без малейшего нажима, что невольно испытываешь чувство жалости к молодому человеку, навьюченному тяжким и дурно пахнущим скарбом. Отто раздражается, Отто теряет на время чувство реальности. Колдовские чары острой азиатской экзотики, с таким вкусом и знанием показанные Н. Тихоновым, как бы начинают приводить в себя окостеневшего в предубеждениях, но в общем-то неплохого человека.

В повести есть сцена, весьма примечательная и увлекающе странная, когда Отто Мюллер получает своеобразную моральную встряску в доме «прорицателя трав» У Джи. Отто Мюллер коснулся сокровенных, нематериальных богатств другого народа, чтобы неясно, почти ирреально почувствовать всю хамскую грубость присоветованных ему этических рекомендаций.

Особенно мучительным для Отто был рассказ бирманского инженера У Тин-бо, который поведал ему страшную историю плененных японцами англичан, жестоко брошенных на мучительную смерть в зеленый ад джунглей.

Короткая история Отто Мюллера, написанная Н. Тихоновым,— яркий отблеск тех бескровных, но тем не менее грандиозных битв, которые разыгрываются в душах людских над пропастью вражды, разделяющей мир свободы, надежды и хмурый, пасмурный мир неунимающейся агрессии.

Сильное и тонкое искусство Николая Тихонова послужило в высшей степени гуманистическим задачам.

Н. СЕРГОВАНЦЕВ

Н. Тихонов. Зеленая тьма. Журнал «Знамя» № 6, 1966.



Геля и Арсений

Михаил БУБЕННОВ

Рисунок А. ЛУРЬЕ.

Хотя Геля и уступила настоянию Морошки, она с большой неохотой поехала в его деревню. Гелю чем-то пугало предстоящее знакомство с матерью Морошки. И потом, как это ни странно, она опять испытывала то смутное чувство, какое разбудило ее прошлой ночью. Но у нее, как и ночью, все не хватало и не хватало времени доискаться, чем вызвано оно, это навязчивое чувство...

Пуля Морошки, к счастью, миновала Белявского, но, скатываясь в овраг, он не то вывихнул, не то сломал правую ногу в бедре и ободрал лицо о камни и ветки. На рассвете его отправили в Железново.

Безвинность Морошки для всех, в том числе и для Белявского, была очевидной. И все же Белявский глядел на Морошку зверем. Когда же парни принесли на катер его вещи, он возмутился:

— Кто вас просил?

Один из парней сказал:

— Так ведь, может, и не вернешься теперь.

— Я? Не вернусь?

— Ну, а если нога сломана?

— Отрежут — на одной вернусь!

— Будь мужчиной,— невесело посоветовал ему Морошка.

— Катись ты!..

Узнав о том, что говорил Белявский, отправляясь в Железново, Геля поняла: ее решительное поведение не только не остановило Белявского, на что она рассчитывала, но еще более разожгло. И Белявский, судя по всему, еще не скоро оставит ее в покое. Но теперь, после ночного случая, его преследование определенно грозило бедой.

Все утро Геля думала о том, что будет, когда Белявский вернется из больницы, и потому не могла сосредоточиться в себе — сосредоточиться и доискаться, какое же чувство преследует ее со вчерашней ночи.

...Вся деревенская улица, по которой Морошка и Геля шли на западный край Погорюя, была изрыта машинами и тракторами: рытвины, выбоины, как на военной дороге, случись дождь — и улица превратится в непроходимое болото. Оказывается, лесхозовские машины и трактора развозили сельчанам сухостойные лесины, а той порой стояла непогодь. Гелю поразило, что почти все дворы погорюйцев были заняты высокими поленницами сосновых дров, так что и пройти-то по дворам негде. А у многих хозяев поленницы были сложены даже на улице, у заборов и ворот. Куда ни глянь — дрова, дрова, дрова...

— За зиму все сожгут,— пояснил Морошка.

Было воскресенье, но людей встречалось мало. По словам Морошки, все, кто мог, отправились сегодня по грибы и ягоды: сейчас самое время набить погреба и кладовки щедрыми дарами тайги. На лавочках у домов сидели, греясь на солнце, лишь древние, немощные старики да старухи. Все они, как заметила Геля, едва разглядев Морошку, услышав его басовитый голос, торопливо поднимались с лавочек, кланялись ему с почтением в пояс, а то и обнимали его, как родного сына. И все настойчиво и ласково зазывали в гости. А Гелю старые сельчане рассматривали с любопытством, но осторожно, боясь смутить, и ничего о ней у Морошки не спрашивали. «Умные старички! — удивлялась Геля.— Покультурнее иных нахалов в городе». Эти случайные встречи слегка успокоили и приободрили Гелю. И все же она не могла представить себе, как покажется матери Морошки.

Удивило Гелю и то, что все сельчане, встречаясь с Морошкой, непременно расспрашивали его о том, как идут дела на Буйной. Одна маленькая старушечка, поймав Морошку за жилистые руки, стараясь получше разглядеть его лицо, допытывалась особенно настойчиво:

— Чо там, Арсений Иваныч, как у тя на Буйной-от? — У нее был полон рот зубов, и говорила она чисто.— Успешь ли уладить ее ко времю? А то ить беда, сам знашь.

— Знаю, знаю,— твердил ей Морошка, не проявляя, однако, никакого намерения поскорее уйти от старушки.

— Постарайся, Арсеньюшка...

— Все сделаю.

— Гляди, на тя вся надёжа!

Так на улице Погорюя Геля впервые узнала, как тревожится народ за дела на Буйной. Это было для нее откровением, и оно, как внезапно проглянувшее солнце, помогло ей разглядеть в Морошке еще кое-что, что оставалось для нее неясным прежде.

На краю деревни стояла совсем крохотная пятистенка под тесовой крышей, но более поздней постройки, чем большинство деревенских строений, с двумя оконцами на солнце; наличники над ними — из простенькой резнины, куда менее замысловатее той, что делалась встарь; ставенки, недавно окрашенные белилами, четко отпечатывались на фоне изрядно потемневшей древесины. В палисаднике с огорожей из молоденького соснового кругляша, перед каждым оконцем росли черемухи — самые частые гостьи в деревнях на Ангаре.

Войдя в калитку впереди Морошки, Геля одним взглядом объяла дворик, наполовину крытый тесом и выстланный толстыми плахами из лиственницы. Плахи хотя и потемнели от времени, но были чисты, как половицы в доме хорошей хозяйки. Открытая часть дворика была занята поленницами дров и амбарушкой, вероятно, с погребком внутри, как часто водится в сибирских деревнях; крытая же часть дворика, где виднелась опрокинутая на чурбаны лодка, была отгорожена новой, неокрашенной сетью из капроновой нити. Перед сетью на скамеечке, спиной к калитке, сидела его мать...

Старушка задумалась или увлеклась работой и обернулась лишь тогда, когда Морошка, закрывая за собой калитку, стукнул щеколдой. Но еще до того, как она успела обернуться, Геля, увидев ее дворик, составила о ней определенное впечатление. И когда наконец-то увидела ее лицо, поняла, что не ошиблась, да и непозволительно ошибаться: на этом дворике могла обитать только такая женщина, как мать Морошки. Она была небольшого росточка — по грудь своему сыну, вся опрятная, вся беленькая, но с зоркими темными глазами, которые молодили ее необычайно. Увидев гостей, она так вспыхнула от радости, что у нее даже заметно порозовело чистое, в едва приметных морщинках, милое старушечье лицо. В ее чертах не было ничего общего с Арсением Морошкой, и все же Геле немедленно подумалось, что она, где угодно встретив Анну Петровну, непременно признала бы ее матерью Морошки.

— А я ждала вас, ждала,— заговорила Анна Петровна, с первой минуты обращаясь не только к Морошке, но и к Геле, да еще как к давно знакомой и желанной, и тем самым избавляя ее от условностей, обычных при знакомстве.— Все на огород бегала, на реку поглядывала. Нет и нет. А тут, видать, задумалась у сетушки...— Голос у нее был мягкий, певучий, но говорила она очень сдержанно, ровно, и все ее слова светились, будто камешки на речном дне в солнечный полдень.— Рада я, радешенька... Сейчас я самоварчик поставлю...

— Ой, что вы! — запротестовала Геля.— Не хлопочите.

— Нет уж, вы гости,— возразила Анна Петровна.— Как мне не угостить вас? Мне совестно будет.

— Хорошо, хорошо,— согласилась Геля, боясь обидеть Анну Петровну, не приняв ее гостеприимства.

— Я и варенья наварила...

— Варенье она любит,— сказал Морошка.

— Вот и славно!

— А какое у тебя, мама?

— Всякое. На любой вкус.

У Гели не осталось никаких сомнений, что Анна Петровна принимает ее с радостью, и стеснительность ее быстро исчезла. Этого не мог не видеть Арсений Морошка. Но Геля с удивлением заметила, что он продолжает следить за каждым шагом матери, за каждым ее взглядом с некоторой настороженностью. «Он боится, что я не понравлюсь матери? — спросила себя Геля.— Чудак! Да она вон как рада! Чего ему бояться? Она такая добрая, что для нее, наверное, все люди хороши». И еще казалось Геле, что Арсений Морошка, несмотря на очевидную приветливость матери, все ждет от нее чего-то, не то каких-то слов, не то слез, и ждет с непонятной, несвойственной ему робостью...

Указывая глазами на сеть, он заметил с обидой:

— Совести у них нету, у наших рыбаков...

— Бывает, просят,— ответила мать весело.— Нонешние-то рыбаки совсем не умеют сети ладить. Им все готовые подавай. Чинить — и то сами не чинят. А я привычна: сызмальства вяжу да уделываю. Да мне и скушно одной, без сетей-то. Уделываю — всю жизнь вспоминаю.

У Морошки нахмурились брови.

— А ты не бойся: плохое я не вспоминаю,— сказала Анна Петровна.— Пошто его вспоминать? В любой жизни, как ни считай, не меньше и хорошего... Оттого и жить охота.

Окончание. См. «Огонек» № 40.



Она прошлась вдоль сети, изредка сухонькой ручкой потряхивая ее и трогая поплавки из пенопласта, откровенно приглашая сына полюбоваться ее работой. И затем, сияя от удовольствия, какое дается сознанием редкостной удачи, тихонько воскликнула:

— Хороша сетушка! Помниста будет.

Но сын продолжал хмуриться, и Анна Петровна, коснувшись его руки, попросила:

— А на рыбаков ты не серчай...

— Да как же не серчать-то?

— Это не им, а тебе сетушка.

— Что ты, мама!

— Помолчи уж, помолчи,— остановила мать сына, но опять ласково, просяще.— Это мой подарочек тебе. Она небольшая, с такой-то позволяют пока плавать. Вот и поплавай, и покажи, как у нас рыбачат, и угости красной рыбкой...— Она не называла Гелю, понимая, что та и без того смущена; вместе с тем давая понять, что говорится именно о Геле, она тут же обратилась к ней:— Больно хороша у нас стерлядка-то! Только мало ее нынче, совсем оскудела река. Вот допрежь-то поели мы здесь красной рыбки, всласть поели! Бывало, поедут рыбаки...

Арсений Морошка обнял мать за плечи, сказал глуховато:

— Ладно, мама, ладно...

Мать покорно примолкла, но взор ее слегка затуманился тихой осенней грустью...

От Гели не ускользнуло, что Морошка оберегает мать от воспоминаний о прошлом. «Почему он останавливает ее? — подумала она.— Вроде чего-то боится... Что у них случилось? И когда?» Теперь Геля не сомневалась, что в ожидании гостей Анна Петровна, конечно же, думала о своей прошлой жизни. И совсем не случайно, не в силу старческой склонности. Сердцем чуяла Геля, что ее воспоминания вызваны скорее всего ожиданием сына, да не одного, а с невестой. И хотя она, несомненно, была рада тому, что сын почтительно знакомит ее с невестой, и по-матерински рада самой Геле, ее все же томила какая-то глухая тоска.

Отпробовав разной домашней снеди, Арсений Морошка ушел к мастерской — делать катамаран, а Геля, видя, что приглянулась Анне Петровне, согласилась погостить у нее до вечера. Они не спеша пили чай, и хозяйка хлопотливо угощала гостью разными вареньями из таежной ягоды. Все они были так запашисты и приятны, что у Гели не переставало сосать под ложечкой. Геля очень боялась оконфузиться перед матерью Морошки, но не она, к сожалению, а неизвестно откуда взявшаяся у нее ненасытность владела ее правой рукой. Геля зачищала розетку за розеткой с усердием ребенка, дорвавшегося до запретного кушанья, пока не заметила нечаянно, что Анна Петровна следит за ней хотя и украдкой, но с особенным вниманием и вдумчивостью. Застыдившись своей жадности чуть не до слез, Геля мгновенно оставила варенье и оговорила себя с досадой:

— Ой, да что это со мной? Как оголодала. Даже стыдно. Вы уж извините...

Анна Петровна бросилась успокаивать Гелю, но та, растроганно поблагодарив хозяйку, тут же вылезла из-за стола.

Стараясь как можно скорее забыться, Геля стала рассматривать фотографии, развешанные по стенам уютной, устланной домоткаными половичками горенки, где пили чай. Внимание Гели сразу же привлек портрет черноглазой девушки с косой, помещенный в отдельной рамке и на самом видном месте — в простенке между оконцами. Не оборачиваясь к Анне Петровне, все еще стыдясь, но понимая, что молчать того хуже, она спросила:

— Это ваша дочь?

— Да, доченька, Веруся...— ответила Анна Петровна, но почему-то не сразу, и осторожненько застучала посудой.

— Она на вас похожа.

— Так все говорят.

— А Арсений Иваныч, наверное, на отца?

— Он на отца.

Анна Петровна ушла с посудой на кухню и там задержалась, так что Геля, постояв еще немного перед портретом Веры, наконец-то успокоилась и справилась с собой. Услышав, что Анна Петровна опять в горенке, с облегчением продолжала:

— А она красивая, ваша Вера...— Говорила Геля очень искренне, а не потому, что хотела сделать приятное хозяйке.— Какие глаза! Все видят!

— Видели,— сказала Анна Петровна.— Да теперь уж не видят.

— Она погибла? — ужаснулась Геля, оборачиваясь к Анне Петровне.— На войне?

— Нет, здесь...— ответила Анна Петровна, понурясь и теребя на груди фартучек.— Давно уж это случилось. Рыбачила она с отцом, а тут и налетела буря. Как погибли — и не знаем. Только лодку потом нашли.

— Боже мой! — воскликнула Геля, закрывая лицо руками: теперь ей стало понятно, почему Арсений Морошка так оберегает мать от воспоминаний.— Горе-то какое!

— А что поделаешь? — ответила Анна Петровна, не поднимая глаз, ровно и спокойно, словно боясь своей болью растревожить гостью.— Судьба такая.

— Сколько же ей было?

— Полных семнадцать.

— Невеста уж была!

— Да, на выданье...

— И жених был, да?

— Был.

Стараясь выразить сочувствие Анне Петровне и вместе с тем подчеркнуть, что горе матери ни с чем несравнимо, Геля воскликнула:

— Жениху — что! Он теперь женился, наверное?

— Пока холостой,— ответила Анна Петровна.

— До сих пор? Значит, любит...

— Любил, это правда,— заговорила Анна Петровна, не то что возражая Геле, а как бы уточняя ее мысль.— А теперь какая ж любовь? Память. Не забывает ее, вот что славно. Всегда вспоминает ее с любовью, вот за что ему мое спасибо. И может, никогда не забудет, вот что материнскому сердцу приятно. Теперь не все такие-то...

— И вас не забывает?

— И меня,— ответила Анна Петровна, только теперь посмотрев на Гелю.— Не будь его, мне и не выжить бы тогда, однако... Соседки хлопотали по дому, а он все около меня сидел, день и ночь. Все клюквенной водой поил меня с ложечки. Как ни очнусь — все его вижу, его глаза.

— Где же он сейчас?

Анна Петровна опять посмотрела на Гелю долгим, затуманенным взглядом и ответила одними губами:

— А вот сейчас с нами сидел...

Геля едва успела прикрыть ладошкой рот, чтобы сдержать крик, и несколько секунд смотрела на Анну Петровну тем остановившимся от ужаса взглядом, какой бывает у людей перед могилой, куда летят первые комья земли...

Потом она долго сидела у оконца, положив голову на подоконник, и только когда Анна Петровна, подойдя, погладила ее по голове

сухонькой рукой, спросила, зная, что спрашивает зря, но как бы желая удостовериться окончательно:

— Значит, он не сын вам?

— Как не сын? Сын,— ответила Анна Петровна.

— Ну, не родной, я говорю...

— Как не родной? — возразила Анна Петровна.— Роднее его у меня никого теперь нету. Выходил он меня, а потом и говорит мне: «Вот что, мама, я не уйду от тебя...» «Спасибо,— говорю,— будь сыном». Так он и стал мне сыном.

— Но где же его родители?

— А он сирота. С малых лет...— Присев на табуреточку рядом с Гелей, поласкав ее рукой, Анна Петровна продолжала:

— Теперь уж все рассказать надо... Шестилетним мальчонкой он проводил отца на войну, а через год пошел в школу уже сиротой. А мать, она молодая была, ворочала лесины в тайге, на заготовках, да и надорвалась. Целый год помирала. Все на его глазах. Война кончилась, а он и остался один-одинешенек. Еще годок прожил в деревне, у тетки, а потом его взяли в интернат, в Железново. Зиму — там, а на лето — сюда, в деревню. Ходил по тайге, засечки делал на деревьях да серу добывал. На химию она идет, сера-то... А подрос — в рыбацкую артель принимать стали. Рыбачить у нас тяжело: и сила и ловкость нужны. Да все ведь ночью, а тут, глядишь, и непогода... Веруся тоже училась с ним вместе, в той школе-интернате. Вместе и домой приезжали, вместе и рыбачили, бывало...

Она запнулась на минутку, но потом опять продолжала ровным, спокойным голосом, как умеют разговаривать лишь люди, узнавшие, что горе неисчерпаемо, а надо жить — и не для себя, а для людей.

— А тот раз, когда буря-то налетела,— продолжала она,— Арсеньюшка с бригадиром в Железново ходили, за сетями. Страшная буря тогда случилась. Сколько лесу повалило! А когда возвращались домой с сетями, им кто-то на реке, еще до Буйной, и передай о нашей беде. Так бригадир сказывал потом, что едва-то уберег его, Арсеньюшку-то, едва в лодке удержал. Связал да закатал в сеть, а то он все хотел выпрыгнуть из лодки. А когда, сказывал, вспомнил обо мне, и затих и попросил развязать. Вот и прибежал тогда ко мне — все губы искусал до крови, а терпел, ни единой слезинки.

— И даже не нашли! — воскликнула Геля.

— Где там, на нашей-то реке! А лодка вон, под навесом хранится...

— Они уже закончили в то лето школу?

— Вместе и закончили,— продолжала Анна Петровна.— Вместе и собирались в речной институт. А остался один — и никуда не поехал. Выходил меня, поставил на ноги, а осенью его в армию забрали. Сначала страшно было одной, а все-таки я всегда помнила: далеко, а есть у меня сын. И он не забывал меня, писал каждую неделю. У меня все его письма в целости. Вот такая пачка! И на побывку приезжал ко мне... Очень радовался, что попал в армию. Служил хорошо, много благодарностей от командиров получил, да и на шофера там выучился. А закончил службу — и опять ко мне, но тут я ему сама сказала: «Поезжай в институт, учись...» Зиму он учился в Новосибирске, а летом плавал на судах по Ангаре. Сначала матросом, потом штурманом... Идет мимо Погорюя — всегда причалит, забежит ко мне, попроведует, а то и заночует с товарищами. Боялась я, что его ушлют куда-нибудь далеко, когда закончит институт: рек-то в Сибири много! И правда, его посылали на Енисей, а он попросился сюда, на эти взрывные работы, ближе ко мне...

«Скрытный он, что ли? — думала Геля о Морошке, слушая Анну Петровну.— Да нет, не похоже... Просто он не хотел ничего рассказывать. Решил, пусть узнаю все от матери...»

— Начали рвать, а у него тут как раз день рождения...— продолжала Анна Петровна.— Приезжает ко мне, я его поздравляю и говорю: «Отслужил, выучился, все честь честью, сынок, а теперь пора и жениться. Тебе уж двадцать пять. Тебе нужна жена, а мне — внучата. Верусю почитай, добрым словом помяни при случае... Но зачем же молодому да в одиночестве жить? Негоже». А он все слушает да головою крутит. Я ему и так и этак... «Может,— говорю,— ты стесняешься? Не стесняйся,— говорю,— за Верусю в обиде я не буду. Какая тут обида? Женись — и приводи, я ей буду рада. Кого выберешь — того и буду любить, как дочь». «Ладно,— отвечает,— погоди, мама...» Он все молчал потом, а я ждала. А вот как ты, видать, появилась на Буйной, он заглянет попроведать меня,— и все, замечаю, стоит перед портретом Веруси, стоит и молчит, стоит и молчит. Я и догадалась...

Геля вдруг сорвалась с места из-под руки Анны Петровны и встала у оконца, хватаясь руками за грудь и за горло. Ее лицо, освещенное солнцем, быстро и нехорошо бледнело, а дрожащие губы наливались синевой. Анна Петровна с криком бросилась к Геле, стала обнимать ее, ласкать:

— Что с тобой, милая? Что с тобой?

— Не знаю, не знаю,— заговорила, заметалась Геля, едва-то справляясь со своим внезапным страданием.— Я нынче много волнуюсь. И ночью, и утром, и сейчас вот...

— Тебя мутит?

Геля подтвердила это кивком головы.

— Наверно, от волнения,— сказала жалобно, очевидно, очень боясь нового приступа.— Ведь так бывает, да?

— Знамо, бывает.

Но хотя Анна Петровна и согласилась с этим весьма охотно, смотрела она на Гелю с той особой мудрой женской вдумчивостью, с какой она уже смотрела на нее украдкой, когда пили чай. Встретясь теперь с ее взглядом, Геля вдруг вся сжалась от нестерпимого озноба и ужаса.

— Да ты сядь, сядь! — закричала Анна Петровна.

Но Геля, шатаясь, пошла вон из горенки.

— И правда, давай-ка, милая, на крылечко, давай-ка на свежий воздух, давай, давай...— торопясь за Гелей, шепотком приговаривала Анна Петровна.— И что такое приключилось? Вот напасть-то! Ну, а раньше-то случалось так с тобой?

— Нет, нет,— торопясь, ответила Геля.— Нет, не случалось.

Но Геля лгала Анне Петровне. По молодости и неопытности она не умела следить за собою, а вот теперь, когда спросила ее Анна Петровна, ей немедленно вспомнилось, что в последние недели случались, и не однажды, вот такие приступы тошноты. Но каждый раз у Гели находились самые различные объяснения случаям такого недуга, и потому они не оставили в ее памяти заметного следа. Встреча с Анной Петровной, с ее проникновенным женским взглядом будто озарила Гелю, и она впервые поняла, как должно понимать, отчего происходят с нею разные непонятные перемены и отклонения в ее девичьей жизни. Но сейчас она не могла не лгать... «Боже мой! Боже мой! — кричала Геля самой себе.— Неужели это случилось? Неужели? Да что я спрашиваю? Что гадаю? Я ведь все знаю, все!» Распахнув одни двери, другие, третьи, она выбежала на низенькое крылечко, потом во дворик и, добежав до сети, ухватившись за нее, опрокинулась навзничь...

Вечером, вскоре после возвращения из деревни, Арсений Морошка позвал в прорабскую Демида Назарыча, Володю Полетаева и всех парней, составлявших ядро прорабства. И как только все собрались, предупредил:

— Только без шума.

— Что с нею? — кивая в сторону комнатушки, где лежала Геля, спросил Демид Назарыч, не ездивший в деревню, а охотившийся за хариусами по Медвежьей.

— Нездорова,— ответил Морошка уклончиво.

— Тогда, может, в другом месте собраться?

— А где?

Расстелив на столе свою рабочую карту, Арсений Морошка показал друзьям, какая прорезь, согласно договоренности с Завьяловым, должна быть пробита в средней части шиверы...

...Геля лежала в постели и рассеянно слушала негромкий разговор парней за перегородкой. Обидно было Геле, что в то время, когда на Буйной начинается самая горячая работа, ей приходится заботиться лишь о себе. Несмотря ни на что, у нее оставалась еще какая-то надежда, и она решила, как это ни страшно было, побывать у врача. Теперь она думала только о том, как заговорить с Морошкой о поездке в Железново.

Она не слышала, как ушли парни из прорабской, и очнулась тогда, когда к ней вошел Морошка. Он знал, что с Гелей в деревне было дурно. Геля сама сказала ему о случившемся, а объяснила все тем, что перед поездкой в деревню переутомилась и много нервничала. И Морошка, как только они вернулись на Буйную, заставил ее лечь в постель.

— Ты усни, успокойся и завтра будешь здорова,— сказал ей сейчас Морошка, тыльной стороной ладони ощупывая ее лоб.

— Не знаю,— ответила Геля с сомнением, боясь, что ей не удастся заговорить о поездке в Железново.

Но ее сомнение, казалось, немедленно помогло Морошке догадаться, в каком затруднении находится сейчас Геля, и он добавил:

— Если же и завтра будешь чувствовать себя плохо, я отправлю тебя в Железново.

— Мешков-то я много нашила,— сказала Геля.

— Спи и ни о чем не думай.

И как только вопрос о поездке в Железново разрешился, да еще так легко, Геля быстро успокоилась и уснула, как в детстве, крепко, безмятежно и сладостно. Утром она поднялась позднее обычного и, чувствуя себя окрепшей и бодрой, поела варенья с хлебом и отправилась на берег.

Никогда еще, даже во время разгрузки баржи, в запретной зоне не собиралось так много людей, как собралось в это утро. Работа уже шла полным ходом. От склада к берегу — под уклон — выстилали, скрепляя железными скобами, дорожку из плах, по которой должны спускать на тележке тяжелые ящики с порохом. А пока их таскали к берегу на носилках. На одной из спаровок уже готовили первый заряд. Володя Полетаев, руководивший работами на берегу, носился туда-сюда с вытаращенными глазами и потным чубом, а Морошка уже клал с «Отважного» якорь на шивере.

В запретной зоне сегодня работали не только парни, как обычно, но и несколько женщин с земснаряда. Недолго думая, Геля схватила ведро и стала таскать порох на спаровку. За несколько минут она разгорелась на работе и на время даже позабыла, что ей все-таки надо собираться в Железново.

Геля долго бродила вдоль ограды, за которой среди небольшой рощицы, уцелевшей от тайги, стояли недавно выстроенные здания амбулатории и больницы. Она никак не могла решиться войти в калитку, куда шли и шли больные. Ей казалось, что стоит только войти под сень рощицы, ступить на крыльцо амбулатории — и все пропало.

Тот час, пока Геля сидела в приемной врача, ожидая своей очереди, сжимаясь в комочек от любопытных и грустных взглядов пожилых женщин, показался ей черной вечностью. Сто раз она то бледнела, да так, что краше в гроб кладут, то до ключиц заливалась алой кровью. И все время судорожно держалась за стул, боясь упасть перед дверью, за которой изредка слышался голос врача. Ей ни за что не вынести бы всех мук перед дверью врача, не надейся она на чудо.

Но стоило ей увидеть молодого врача в белоснежном халате, кушетку, покрытую розовой клеенкой, странное высокое кресло, и Геля мгновенно поняла, что чудес не бывает. Не могло быть никакой ошибки, если она нашла силы побороть свой нестерпимо жгучий стыд и прийти сюда...

Очень молодой врач, старающийся казаться старше своих лет, был серьезен и хмурил густые черные брови. Когда он заговорил с Гелей, она оглохла от стыда и позора. Он еще раз заговорил с нею, повторяя свои вопросы, и посмотрел на Гелю строго и осуждающе, а Геля, так и не расслышав ни одного слова, отступила на шаг, собираясь бежать из кабинета. Но ее вовремя подхватили руки пожилой сестры, и, когда Геля почувствовала, как удерживают ее ласковые женские руки, у нее будто враз вылилась из ушей вода. И она услышала голос сестры:

— Садись, милая, садись...

В БОРЬБЕ ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ



«Жизнь — это борьба за лучшую жизнь»,— задумчиво говорит молодая художница, и парторг завода горячо отвечает ей: «Да! Жизнь — это борьба за коммунизм!»

Этим диалогом заканчивается пьеса «Глина и фарфор», за которую ее автор, латышский писатель Арвид Петрович Григулис, в 1948 году был удостоен Государственной премии.

Призывом к борьбе за лучшую жизнь проникнуты многие произведения писателя. Еще в 30-е годы Рабочий театр Риги поставил первую пьесу Арвида Григулиса, «Окно, выходящее на предместье» — о жизни К. Маркса и Ф. Энгельса.

Родившийся 12 октября 1906 года в семье видземского крестьянина, в течение нескольких лет работавший мелким почтовым служащим, Григулис с самого начала своего творческого пути на стороне обездоленных. Стремлением к правде и человечности дышат первые сборники его стихов.

В августе 1941 года Арвид Григулис вступил добровольцем в ряды Красной Армии, был военным корреспондентом фронтовой газеты «Латышский стрелок». Во время войны вышел сборник его стихов «Землянка», затем книга рассказов «Сквозь огонь и воду» — яркое художественное свидетельство героического боевого пути Латышской дивизии.

Послевоенное творчество Григулиса разнообразно по жанрам и тематике. Одна за другой появляются его острые сатирические пьесы, рассказы и повести для детей и юношества, литературно-критические статьи о творчестве латышских писателей.

Заслуженному деятелю культуры Латвийской ССР, поэту, прозаику, драматургу и критику Арвиду Петровичу Григулису исполнилось 60 лет. Сердечно поздравляя юбиляра, желаем ему многих лет здоровья и плодотворного творческого труда.

Н. ГЕОРГИЕВА

Геле все уже было безразлично, и на все она соглашалась теперь покорно. Она считала, что это посещение врача — вполне заслуженное ею наказание и его надо снести достойно. Она спокойно и мужественно покорялась врачу, и, когда было установлено то, что для нее и так было очевидным, она поняла: за несколько минут в кабинете врача она прожила больше, чем за всю свою жизнь, и выйдет отсюда совсем другой женщиной...

Так это и было.

Она не могла сейчас же показаться на люди и потому, выйдя от врача, направилась не в сторону калитки, а в глубину безлюдной рощицы, служившей парком больницы. Рощица была расписана вилючими дорожками, у которых там и сям стояли разноцветные скамейки.

Геля посидела с минутку на одной из скамеек, потом перешла к другой и, наконец, окончательно устроилась лишь на третьей... Медленно, очень медленно сходила кровь с ее лица. «Что же делать? Как быть? — и сто и тысячу раз допытывалась Геля у себя, прижимая руки к груди, не давая себе закричать на все Железново.— Как я покажусь ему на глаза? Что скажу ему? Да лучше мне провалиться сквозь землю!» Теперь Геля уже не думала о своем положении. Все ясно. Она не думала и о будущем ребенке: еще не настало то время, когда она должна была почувствовать себя матерью. Думала Геля лишь об одном Морошке. Она считала, что со всем, что связало ее с Морошкой, отныне покончено. И покончено навсегда. Да так, будто она никогда и не встречалась с Морошкой.

В последние дни Геля уже определенно знала, что те сложные, непонятные, мучительные чувства, какие вызвал в ней Арсений Морошка, и есть ее первая любовь. И все же она недостаточно ясно понимала, что случилось в ее жизни. И только сейчас, на скамейке в больничном парке Железнова, наверное зная, что она теряет Морошку навсегда, Геля отчетливо поняла, как он дорог ей и какое место успел занять в ее душе. Она могла потерять сейчас все, кроме матери, и не охнула бы, но потерять Морошку для нее было страшнее смерти. «Что я скажу ему, когда он встретит меня и заглянет мне в глаза? Обманывать? А зачем? Все кончено...— думала Геля.— Нет, я должна сразу же сказать ему всю правду, как только встречусь с ним на Буйной. Сказать — и уехать. Но как сказать? Как он встретит мои слова? Я не могу видеть, как он будет страдать... Нет, лучше и не возвращаться на Буйную! Зачем встречаться? На одно мучение? И для меня и для него... Надо пойти на пристань и немедленно уехать домой, к маме, а ему написать письмо».

Занятая своей бедой, Геля и не заметила, как на дорожках стали появляться больные в полосатых пижамах: в больнице закончился обход врачей. Спохватилась она, да поздно. Двое больных уже приблизились к ее скамейке, и один из них шел, опираясь на костыль и едва касаясь правой ногой земли. Геля вскочила со скамейки, но тут же, обессилев, вновь опустилась на ее край.

— Геля? — останавливаясь, закричал Белявский.— Ты здесь? Ты ко мне? Геля, милая, да какая же ты умница!

Последние сутки Геля была так занята собой, что ей даже и не подумалось о возможной встрече с Белявским в Железнове. Собравшись с силами, она поднялась со скамейки и ответила сухим, дрожащим голосом:

— Я не к тебе...

— Неправда, ко мне! — воскликнул Белявский.

— Ты все такой же...

— Но зачем же ты сюда?

— Не твое дело.

И только сказав все это второпях, Геля догадалась, что она выдала себя своей прямотой. На лице Белявского, обрастающем густой черной бородкой, измазанном зеленкой, отчего оно изменилось до неузнаваемости, вдруг появилась странная гримаса, отдаленно напоминающая улыбку удивления и радости. Зачем-то быстро оглянувшись по сторонам, что-то быстро соображая, Белявский шагнул к Геле с протянутой рукой:

— Геля, Геля!

— Уйди, подлец! — крикнула Геля, стараясь отвлечь Белявского от своих мыслей.— Не подходи!

Но Белявский подходил смело.

— Геля, успокойся...

Тогда Геля ухватилась обеими руками за грудь Белявского и, притянув его к себе, прокричала ему в лицо сквозь слезы:

— Ты мне всю жизнь... Всю жизнь... Подлец ты!..

Разгорячась, она начала хлестать его по лицу, которое ненавидела теперь больше всего на свете. Ее пощечины звучали на весь больничный парк, а Борис Белявский стоял, покачиваясь то вправо, то влево, совершенно не собираясь защищаться, весело улыбался и ласково просил:

— Геля, Геля, тише ты...

И оттого, что Белявский улыбался в эти секунды, Геля хлестала его без памяти, так и сяк, пока совсем не отнялись руки...

Потом, испугавшись шума, она опрометью бросилась из парка, а Белявский, прыгая на одной ноге, взмахивая костылем, кинулся за нею вслед.

— Геля, Геля, обожди! — выкрикивал он во все горло.— Я скоро приеду, жди! Я все знаю!

Отстав от Гели, Белявский, тяжело дыша, присел на скамейку и стал ощупывать ногу. Вскоре к нему подошел приятель по палате, поинтересовался с усмешкой:

— Это кто же тебя так обласкал?

— Жена,— счастливо улыбаясь, ответил Белявский.

— Проведывать приезжала?

— Точно.

— За что же она тебя?

— Известно, ревнует.

— Все они из одного теста...

Поняв, что Белявский догадался, зачем она приезжала в Железново, Геля окончательно решила бежать, бежать немедленно, даже на время не появляясь на Буйной. Геля понимала, что Белявский может нагрянуть на шиверу в любой день, хоть завтра, и тогда непременно откроется ее тайна.

От больничной калитки Геля прямиком направилась на пристань: надо было узнать, когда будет сверху пассажирский теплоход, на котором она могла бы добраться до Стрелки — пристани на Енисее. Геля поднялась на дебаркадер и стала осторожно заглядывать в разные двери, ища людей, у которых можно узнать про теплоход. Но везде было пусто, и Геля по одному этому догадалась, что теплоход прибудет не скоро. «Теперь все на самолетах летают,— подумала Геля.— Да и мне можно лететь до Красноярска, а там на поезд...» Она уже сходила на берег, чтобы отправиться в аэропорт, когда ей встретилась знакомая девушка — повариха Ася, с того самого теплохода, на котором Геля бежала недавно из поселка у порога. Ася обрадовалась встрече, затащила Гелю на теплоход, стала угощать и рассказывать, как живут ее подружки, с которыми она приехала в ангарский край.

— А зря ты махнула из поселка,— пожалела Ася, исчерпав все свои новости.— О тебе там ни одного плохого слова. Все вспоминают тебя и жалеют, что уехала. А знаешь что? Давай обратно! Мы тебя увезли — мы и привезем!

— Что ты! — слабо возразила Геля.

— Может, ты этого... своего... боишься? — спросила Ася.— Так его давно и след простыл! Пожил после тебя немного и куда-то укатил. Стыдно было показываться на люди. А тебя там и девчонки и парни ждут.

— Мне домой надо,— сказала Геля.— К матери.

— Зовет? Ну, что ж, доставим до Стрелки, а там на «ракете».

— А когда пойдете?

— Завтра утром. Ты обделывай свои дела и к вечеру приходи. Соберется вся команда, вместе поужинаем и заночуем.

Все устраивалось как нельзя лучше.

С пристани Геля отправилась в контору стройуправления, которая находилась за речкой Теплой, на западной окраине Железнова. Там она написала заявление об увольнении, но Родыгина не оказалось на месте. Она ждала его часа три, а он, не заходя в контору, отправился на радиоузел: начинался очередной сеанс переговоров с прорабствами. Геля знала, что Родыгин пробудет на рации до конца рабочего дня, и потому не могла ждать. Ничего, рассудила Геля, найдется у Родыгина для нее одна-то минутка...

У слегка приоткрытой двери радиорубки Геля призадержалась, чтобы получше собраться с духом, и вдруг услышала низкий, басовитый голос Арсения Морошки. И Геле показалось, что голос Морошки оглушил ее, как шум ангарской стремнины в пороге. Она никак не могла, сколько ни силилась, разобрать его слова — они сливались в единый поток, от которого легко шумело в голове. «Да что я делаю? — в смятении думала Геля.— Разве я могу бежать? Чтобы он мучился, гадая, почему я сбежала? Разве он заслужил это? Я должна явиться и рассказать ему все откровенно — и только тогда уехать. И еще я должна... последний раз взглянуть на него...» И как только утих поток голоса Морошки, Геля, осторожно ступая, отошла от двери радиорубки.

Возвратясь на Буйную, Геля намеревалась заговорить с Морошкой о своем положении, едва ступит на берег. Но Морошка так был рад ее возвращению, что своей радостью смутил ее, когда она еще не успела сойти с катера. Пока клали трап, он вошел в реку, выхватил ее из катера и понес на сушь, не стесняясь людей. Он будто знал, что она собиралась бежать да раздумала, и был благодарен той силе, что победила и вернула Гелю на Буйную. Геля не могла заговорить с Морошкой в эти минуты о себе, а потом, упустив заранее назначенный срок, она еще более растерялась, да так и смолчала в тот день...



Николай ГРИБАЧЕВ

Беги, ручей, беги

Лето — тревога и радость моя

1

Июнь. Он сочен. Жарок. Зелен.
Лишаясь отдыха и сна,
Он подбирает сотни зелий
Для ягоды и для зерна.

Земные отворив истоки,
Где кости пахарей и прях,
Пускает в перегонку соки,
Преобразует тлен и прах.

Звенит пчелой. Капелью плачет.
Все утро без машин и прачек,
Из молний выписав кроссворд,
Стирает пыльный небосвод.

Он химик сам себе. И физик.
И полководец кос да вил.
Стрижей гоняет в синих высях,
Пушком пылит на сонный вир.

И я в нем новым чувством
полнюсь
И набираюсь новых сил.
И вдруг вздохну. И вдруг
опомнюсь:
Что я посеял? Что взрастил?

2

Июль — как вход в гудящий улей,
В нем звон, и скрип, и запах сот.
Он не в задумке, не в посуле,
А все, что есть, в полé несет.

И все вокруг, что день, тяжеле,
Все зрелостью озарено:
На ветке плод раздался в теле,
Твердеет в колосе зерно.

И ночи вязче. Тише. Глуше.
И дольше небо жжет звезду.
И первые к рассвету груши
Негромко стукают в саду.

И вот уже, пофыркав бойко,
Комбайн ко ржи подносит нож.
Окончен рост. Пришла уборка.
Считай труды свои. Итожь!

И вот я с тихой грустью вижу,
Что меньше вырастил, чем мог.
А сумрак падает на крышу.
А соловей в садах замолк.

3

Ну, здравствуй, август.
И прохлада.
И в утро вспышки белых рос.
Листва березок непарадная
В последней службе на износ.

И очищенье вод. И воздух,
Что свежим яблоком пропах.
И на последних зерновозах
Мельканье клетчатых рубах.

Ах, август, август! Ходит в людях
Такой бесхитростный рассказ,
Что в августе спокойней любят,
Но и надежней во сто раз.

А это знаешь, сколько стóит —
Когда спадает пестрота,
Когда не страсть слепая стонет,
А впрямь с душой душа слита?

Ну, так добра тебе. Удачи
В делах, в любви не напоказ,
Чтоб ты все трепетней, чем
дальше,
Светился в памяти у нас!

Пятистишия

Где был я — нет меня.
Где буду — также нет.
В исчерпанности всей
я посредине где-то,
Где мускул напряжен,
где чувство в плоть одето,
Где в зелени листвы
горит вишневый цвет —
Последний знак весны,
переходящей в лето.

* * *

Судачить обо мне охотников
полно,
Но кто меня судить отважится
и вправе?
Я ел свой хлеб, и пил свое вино,
И малою своей причастен
к общей славе.
А что мое во мне —
так вам к чему оно?

* * *

«Дождь!» — горожанин
хмурится. «О, дождь!»
Я радуюсь. Чьей правды
выше проба?
Ему своих раскисших жаль
подошв,
Я думаю, как посвежеет рожь...
А дождь идет — мы ни при
чем тут оба!

Нет, в позу всепрощенца
становясь,
Не жди, что в жизни совершится
чудо.
Что оттепель безвременная?
Грязь,
Всеобщий чих и детская
простуда.

Ее с присловьем
«Ишь, как развезло!»
Равно ругают город и село.
И не калош и не ботинок
жаль им,
Жаль: снова плохо будет
с урожаем.

* * *

Вскипело море. Движутся валы.
Из мглы во мглу летят —
во мглу из мглы.
Ужель и мы, похожие на них,
Живем лишь миг
и видимы лишь миг
И, покачав на гребнях
краткий свет,
Лишь зыбкой пеной
обозначим след?
Но если даже так —
ну так и что ж?
Лети вперед, живи,
пока живешь.
Есть хуже доля, горший вид
беды —
Стать на болоте лужицей воды.

Ручью

Не жалуйся на трудный путь,
ручей,
На тень ветвей,
на темноту ночей,
На то, что лоси пьют, что садовод
Для яблонь воду
у тебя берет,
Что кто-то камнем расплескал
круги —
Не жалуйся.
Спеши, ручей, беги!
Вот если остановишься — беда.
Под ряской скиснет
темная вода.
И посреди куги и камыша,
Окончив бег,
умрет твоя душа!

В брянском лесу

В брянском лесу тишина,
тишина,
В брянском краю отгремела война,
И над могилами тех, что
мертвы,
Желтое солнце стекает с листвы.

В брянском лесу тишина,
тишина,
Что предвещает на завтра она:
Теплые росы, грозу от реки?
Вы настрадались, мои земляки.
Вы настрадались,
и счастью пора
С нашего больше не бегать двора.
Пусть наградится ваш подвиг
сполна!
В брянском лесу тишина, тишина.

Лжем

Не лжет природа. Мы ей лжем,
Когда, торя пути кривые,
Приходим в чащи вековые
С машиной, с топором, с ножом.

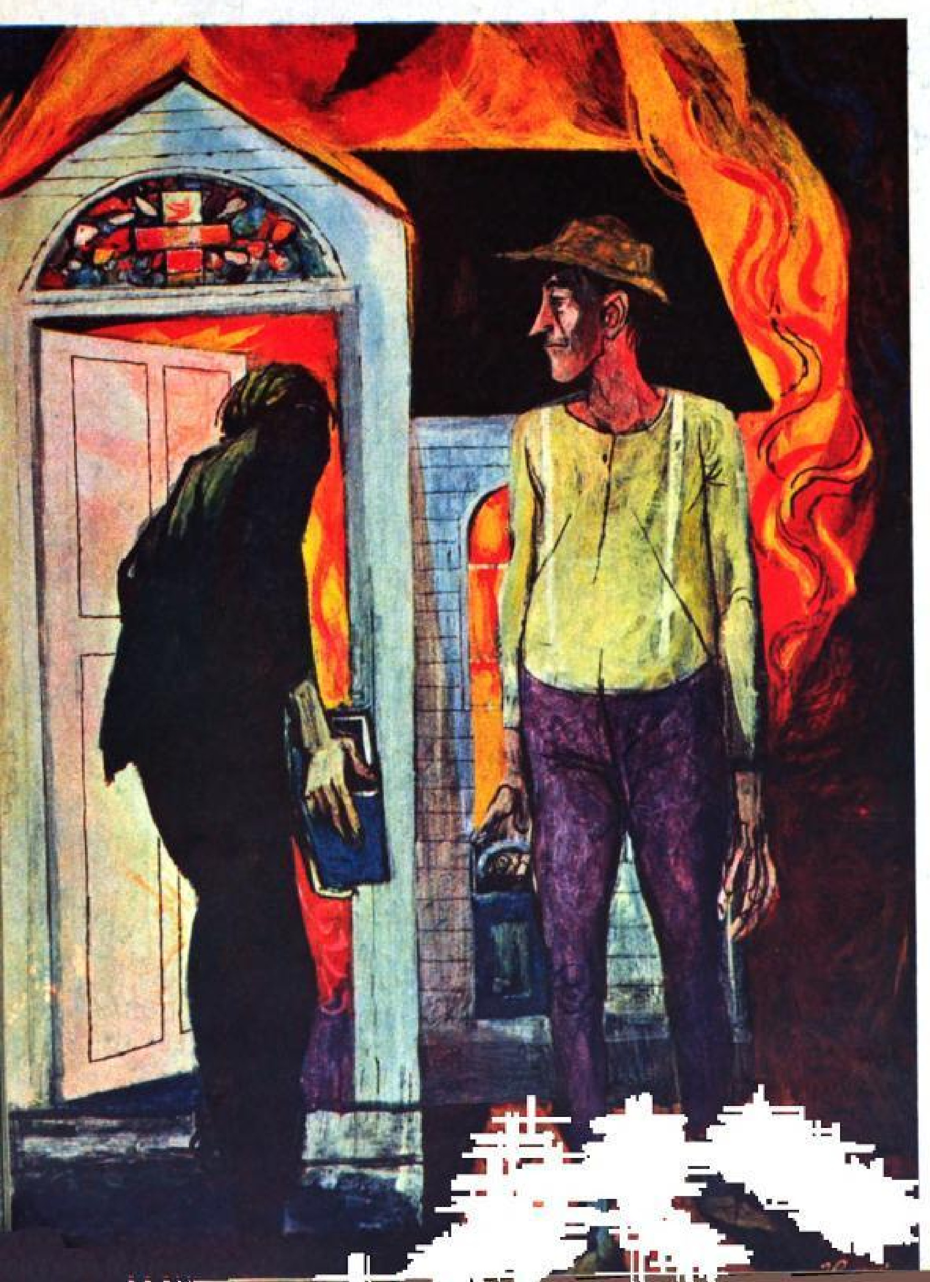
Приходим, чтоб убить ее
И новой бойне научиться,
Забыв, что наше бытие —
Лишь бытия ее частица.

«Потом вернем!» — клянемся мы,
Но клятве той не верим сами.
И под зарю блестят слезами
Опустошенные холмы.

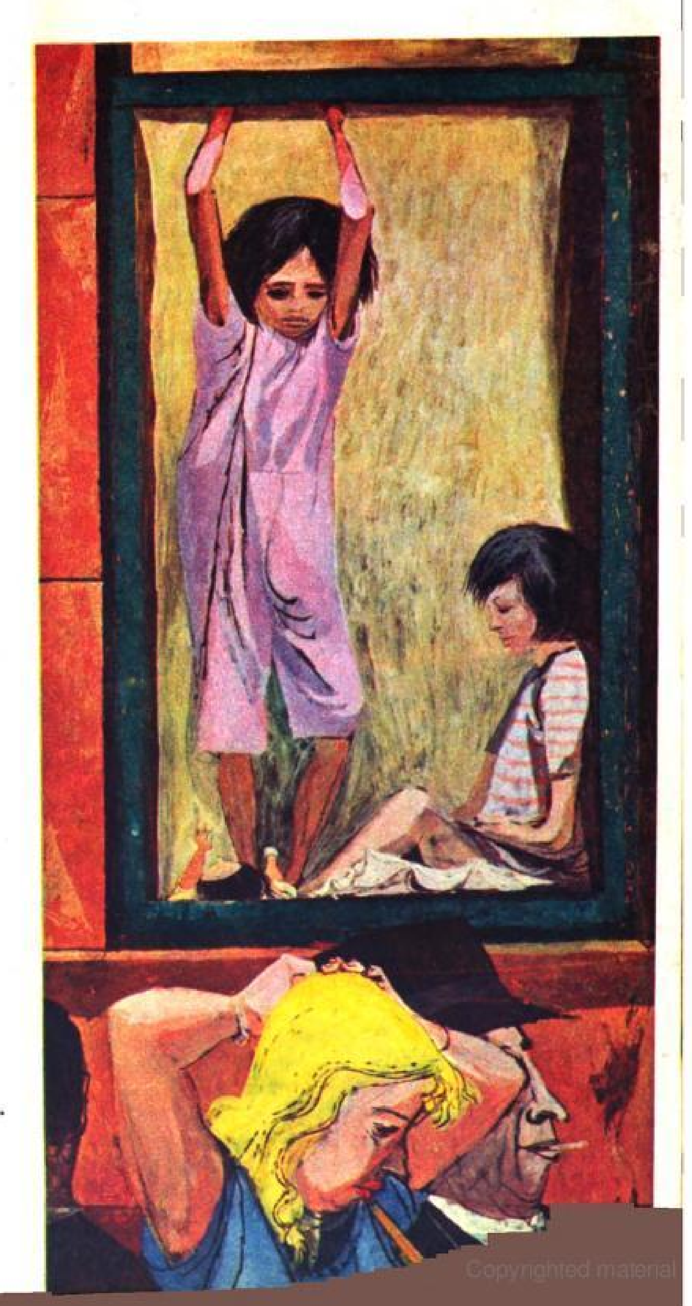


А. Рефрежье. ДЕТАЛЬ РОСПИСИ В КЛИНИКЕ МАЙО.

А. Рефрежье. ДРУЗЬЯ. 1966.



ПОДЖИГАТЕЛИ ЦЕРКВЕЙ. 1966.



ОКНО. 1961.

Кубок «Огонька» снова в 387-й

Юные легкоатлеты московской 387-й школы подружились с переходящим кубком «Огонька» еще в 1958 году, когда он был учрежден. Приз для самых быстрых, выносливых, ловких в первый же год своего существования был прописан в 387-й школе, а затем остался там навсегда. (По статуту розыгрыша приза команда, завоевавшая его дважды подряд, сохраняет у себя кубок.)

Судьба нового кубка «Огонька» оказалась сложнее. Сперва его обладателями стали легкоатлеты школы № 12, затем победу снова одержала команда школы № 387, но в следующие два года кубком владели ребята из 298-й школы, и редакции пришлось заказывать третий экземпляр своего приза.

Новый тур борьбы за кубок, начатый в прошлом сезоне, закончился новой победой юных легкоатлетов 387-й школы. И вот на днях ребята из Сокольников в пятый раз добились успеха. Завоевав второй раз подряд кубок «Огонька», молодые спортсмены, ученики преподавателя Л. М. Федорова, снова навечно получили кубок «Огонька». Второе место завоевала сильная команда школы № 711.

12 октября на стадионе имени В. И. Ленина, после футбольного матча «Торпедо» — «Интернационале», кубок был торжественно вручен победителям.

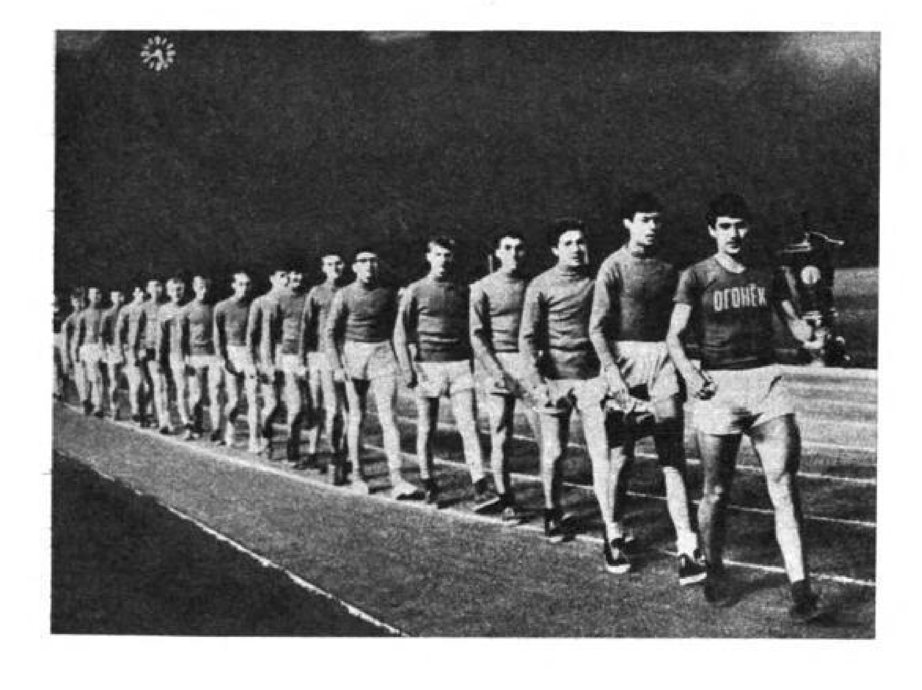


Фото А. Бочинина.

ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА БЕРЕТ СТАРТ

ИНТЕРВЬЮ ФОЛЬКЕ РОГАРДА, ПРЕЗИДЕНТА ФИДЕ, ЖУРНАЛУ «ОГОНЕК»

25 октября на Кубе начинается XVII шахматная Олимпиада. В сборную команду Советского Союза входят чемпион мира Тигран Петросян, гроссмейстеры Борис Спасский, Михаил Таль, Леонид Штейн, Виктор Корчной и Лев Полугаевский. Команда-победительница получит звание чемпиона мира и переходящий приз — золотой кубок ФИДЕ.

Накануне Олимпиады журналист **Юрий Зарубин** обратился к президенту Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) г-ну **Фольке Рогарду** (Швеция) и попросил рассказать о предстоящем соревновании.

— Шахматные Олимпиады — командные первенства мира — это соревнования, в которых с наибольшей полнотой воплощаются идеи международного сотрудничества, лежащие в основе деятельности ФИДЕ,— говорит г-н Рогард. — В Олимпиадах выступали все чемпионы мира, начиная с Х. Р. Капабланки, а также виднейшие современные гроссмейстеры и мастера. Первая Олимпиада состоялась 39 лет назад в Лондоне. В ней участвовали шестнадцать стран. Победителем стала команда Венгрии, которую возглавлял гроссмейстер Мароци. До 1939 года было проведено восемь Олимпиад. Первая послевоенная Олимпиада была проведена в югославском городе Дубровник в 1950 году. Победу одержали хозяева поля.

С 1952 года в Олимпиадах начала участвовать команда Советского Союза. Это оказалось большим событием в международной шахматной жизни. Сборная СССР сразу же стала одним из основных претендентов на звание чемпиона мира. Она добивалась этого почетного титула шесть раз.

— Г-н президент, расскажите, пожалуйста, подробнее о характере борьбы на Олимпиадах.

— Соревнования проводятся один раз в два года. Каждая страна-участница выставляет команду из четырех шахматистов и может иметь двух запасных. Поскольку регламент турнира достаточно жесткий и напряженный — каждый день приходится играть новый матч,— роль запасных ничуть не скромнее роли остальных игроков.

В последние годы быстро растет популярность Олимпиад и увеличивается число участвующих в них стран. Поэтому борьба проходит в два этапа. Звание чемпиона мира определяется в главном финале, куда попадают победители трех-четырех полуфинальных турниров. Остальные места разыгрываются в двух классификационных турнирах.

— Сколько команд приедет на Кубу, чтобы участвовать в XVII Олимпиаде?

— Я жду около пятидесяти стран. Они будут представлять Европу, Азию, Африку, Австралию, Северную и Южную Америку.

Нет возможности перечислять все команды, скажу только, что наряду с известными в шахматном отношении странами пришлет свои сборные и ряд развивающихся государств, недавно вступивших в ФИДЕ.

— Известно, что правительство США строго ограничивает въезд американцев на Кубу. Ожидается ли в такой ситуации участие команды Соединенных Штатов?

— Я вступил в контакт с соответствующими американскими государственными организациями в Вашингтоне и хотя не имею пока окончательного ответа, но считаю, что вопрос может быть решен положительно. Участие команды США, в составе которой могут играть такие выдающиеся современные шахматисты, как Роберт Фишер и Самуэль Решевский, представляет значительный интерес.



Отель «Гавана-Либре», где будет проходить шахматная Олимпиада.

— Господин Рогард, а как подготовились организаторы Олимпиады к проведению такого выдающегося форума шахматистов?

— Шахматная Федерация Кубы имеет опыт проведения больших соревнований. В последние годы стали традиционными мемориалы Капабланки. Сейчас подготовительная работа уже закончилась. Правительство Кубы придает успешному проведению Олимпиады большое значение. В почетный организационный комитет входит премьер-министр доктор Фидель Кастро.

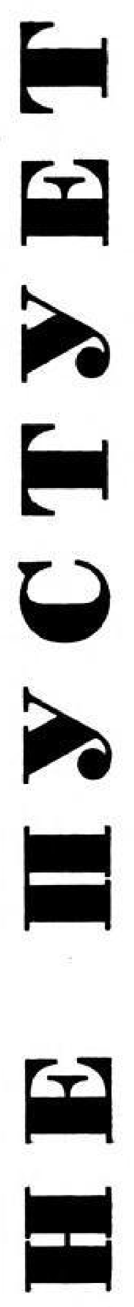
П. Е. Ревунова-Корж

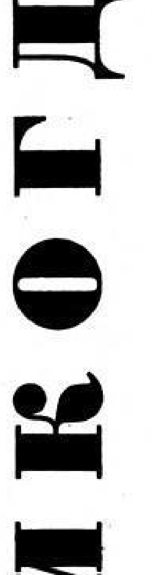


Коллектив редакции журнала «Огонек» понес тяжелую утрату: после продолжительной болезни скончалась Прасковья Емельяновна РЕВУНОВА-КОРЖ. Последние пятнадцать лет ее жизни были отданы работе в «Огоньке».

Райком комсомола, военный госпиталь в годы Великой Отечественной войны, журналист военной печати, с 1951 года сотрудник «Огонька» — таков ее трудовой путь. Огоньковцы никогда не забудут чудесного человека, скромного и честного работника, товарища и друга Прасковью Емельяновну Ревунову-Корж.

НИКОГДА НЕ ПУСТУЕТ





Е. СЕМЕНОВА

Фото Л. Бородулина.

У входа на тульский стадион висит доска, поделенная на три части с надписями наверху: «Футбол», «Баскетбол», «Вело». И во всех трех отсеках под всеми тремя надписями три одинаковых афиши: всесоюзные молодежные соревнования по велосипедному спорту на треке.

Толпа нетерпеливо рвется к кассам, со всех сторон тянутся к окошечку руки, но кассирша сообщает: «Граждане, не стойте. Билетов всем не хватит».

Ни один футбольный матч не собирает в Туле такого множества зрителей, как велосипедные гонки. Тульский трек — главный трек страны. В этом сезоне здесь выступали французские гонщики — чемпион мира Даниэль Морелон и серебряный спринтер Пьер Трантен, соревновались велосипедисты стран народной демократии, а затем прошли всесоюзные молодежные соревнования. Однако не о соревнованиях пойдет наш рассказ.

Мы побывали на знаменитом треке в обычный будний день, когда на его дорожках не кипела борьба, а трибуны не заполняли зрители. На треке шли обычные тренировки. Ничего интересного, но трибуны все равно не пустовали. Взгляните. Вот они, тульские болельщики. Их интересует кухня велосипедного спорта, они внимательно следят за тем, как идет тренировка (1).

Вы видите родителей молодого гонщика Коли Быбина. Не правда ли, снимок напоминает сюжет картины «Опять двойка»? (2).

Есть на тульском треке так называемый пятый ярус. Здесь восседают самые почетные ценители велосипедного искусства. Многие годы они связаны с любимым спортом, а глава ложи знатоков — Петр Васильевич Поляков (третий слева).

— Я еще молодыми Суханова и Соловьева знал, — вспоминает Петр Васильевич,— вот были гонщики! (3).

Теперь знаменитый русский велосипедист Константин Суханов перешел с трека в пятый ярус, а вот Дмитрия Александровича Соловьева и сейчас можно встретить внизу, на треке. Несмотря на то, что ему под семьдесят, ветеран и по сей день тренирует молодежь. Среди его учеников были такие гонщики, как Борис Савостин, Борис Романов, Владимир Леонов, пятикратная чемпионка мира Галина Ермолаева.

— Осторожно, соловьевские ураганы! — разносится по треку весть. И все, кто в это время катит по бетонному эллипсу, прижимаются к бровке: того и гляди, пролетит мимо, едва не задев плечом, какой-нибудь из питомцев Соловьева-старшего (4).

Встретились мы на треке и с Соловьевым-младшим, Вячеславом. Он директор тульского трека и один из лучших стартеров (5).

И вспомнился нам в Туле московский трек. Стоит он пустой, обнесенный надежной стеной, запертый на висячие замки. А ведь было время, когда велогонщики Москвы на равных соперничали с туляками. Теперь все изменилось: трек есть, а хорошие гонщики наперечет, да и болельщиков становится все меньше и меньше. На всесоюзных молодежных соревнованиях в строю участников туляков было почти в три раза больше, чем москвичей. У флага чемпионы, опять же туляки (6).

Бориса Романова, о котором мы уже писали выше, ученика Дмитрия Александровича Соловьева, можно назвать самым ярким представителем тульской спринтерской школы. Сейчас его затмил Омар Пхакадзе, но Романов не сдается, тренируется сам и готовит смену... Через несколько минут его подшефная Валентина Лифанова станет чемпионкой страны в гите на 500 метров (7).

Так живет тульский трек. На нем всегда кипит жизнь — и в будни и в праздники. На его трибунах всегда можно встретить заинтересованных зрителей. Туляки с нетерпением ждут соревнований, того волнующего момента, когда прогремит выстрел директора стадиона Вячеслава Соловьева и по бетонному эллипсу помчатся гонщики (8).



1



2



3



4

5

6

7

8



Мегрэ и старая дама

Роман

Жорж СИМЕНОН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВЛАДЕЛИЦА «ГНЕЗДЫШКА»

Со скорого поезда Париж — Гавр он сошел на унылой станции Бреотэ-Бёзвилль. Для этого пришлось подняться в пять утра, когда такси на парижских улицах не поймать, и добираться до Сен-Лазарского вокзала первым поездом метро. Теперь ему еще предстояла пересадка.

— Скажите, пожалуйста, когда отходит поезд на Этрета?

Часы показывали начало девятого. День давно уже наступил, но здесь из-за сырости и дождя казалось, что только светает.

При станции не было ни ресторана, ни буфета, и лишь по другую сторону дороги виделось некое подобие закусочной, возле которой стояли фургоны торговцев скотом.

— На Этрета? Еще не скоро. Вон где ваш поезд.

Ему указали на стоявшие далеко от платформы вагоны без паровоза, допотопные вагоны зеленого, теперь уже непривычного цвета. За стеклами вагонных окон можно было разглядеть неподвижные фигуры нескольких пассажиров, которые, казалось, торчали там со вчерашнего дня. Выглядело все это несерьезно, что-то было в этом от мира игрушек, от детских рисунков.

Целое семейство — несомненно, парижане! — бог знает почему мчалось во весь дух, перепрыгивая через рельсы, к этому составу без паровоза. Трое ребятишек держали в руках сачки для креветок.

Это и переключило его на иной лад. На мгновение Мегрэ забыл о своем возрасте, ему почудился запах моря, хотя до него было добрых двадцать километров; ему послышался даже размеренный шум прибоя... Он поднял голову и не без почтения посмотрел на серые тучи, плывшие, вероятно, с морского простора.

Он ведь родился и вырос вдали от моря. В его сознании море всегда оставалось таким: сачки для креветок, игрушечные поезда, мужчины в мятых фланелевых штанах, пляжные зонтики, продавцы ракушек и сувениров, маленькие бистро, где устрицы запивают белым вином, семейные пансионы с одинаковым и неповторимым запахом. Обычно мадам Мегрэ уже через несколько дней становилось не по себе в этих пансионах, она томилась от безделья и охотно стала бы помогать мыть посуду на кухне.

Он, конечно, понимал, как призрачны эти ощущения. Но каждый раз, приближаясь к морю, помимо воли опять погружался в этот игрушечный мир, где, казалось, ничего серьезного и произойти не может.

За время службы ему не раз приходилось вести следствие на побережье. Случались там и настоящие драмы. Но и теперь, попивая кальвадос в закусочной, он чуть было не улыбнулся, вспомнив о старой даме по имени Валентина и ее приемном сыне, которого зовут Бессон.

Уже начался сентябрь. Среда, шестое число. В этом году опять не удалось побывать в отпуске.

...Накануне, около одиннадцати часов, старый привратник вошел в его кабинет на набережной Орфевр и протянул визитную карточку с черной каймой:

> Вдова Фернана Бессона. Вилла «Гнездышко». Этрета.

— Она хочет видеть меня лично?

— Да. И настоятельно просит вас уделить ей хотя бы минуту. Утверждает, что специально приехала из Этрета.

— Как она выглядит?

— Это старая дама. Очаровательная старая дама.

Он велел впустить ее. И действительно, вошла обаятельнейшая пожилая дама, какую можно лишь вообразить. Изящная, миниатюрная, с нежным румянцем и белоснежными волосами, она была так моложава и грациозна, что походила скорее на юную актрису, играющую роль пожилой маркизы.

— Вероятно, вы меня не знаете, господин комиссар. Поэтому я еще больше ценю вашу любезность. Я же, напротив, много лет знаю вас по отчетам о потрясающих преступлениях, которые вам удавалось раскрыть. Если вы приедете ко мне, а я на это надеюсь, я покажу вам целую кипу газетных вырезок, где говорится о вас.

— Благодарю вас.

— Меня зовут Валентина Бессон. Это имя, конечно, вам ничего не говорит. Но вы, вероятно, поймете, кто я, если я добавлю, что мой муж Фернан Бессон был создателем косметического крема «Жюва».

В своем достаточно солидном возрасте Мегрэ не мог не знать слова «Жюва». Совсем еще молодым он встречал его в газетных объявлениях и на рекламных плакатах и теперь, кажется, припоминал даже, что его мамаша пользовалась кремом «Жюва» в дни, когда надевала самые нарядные платья.

Сидящая перед ним пожилая дама была одета с изысканной элегантностью, только обилие драгоценностей делало ее туалет чуть старомодным.

— Мой муж умер пять лет назад, и с того времени я живу одна в своем домике в Этрета. Точнее, до прошлого воскресенья со мной жила еще служанка, местная девушка, работавшая у меня несколько лет. В ночь с воскресенья на понедельник, господин комиссар, она умерла — некоторым образом вместо меня. Именно поэтому я и приехала к вам умолять о помощи.

Говорила она спокойно и лишь тонкой улыбкой словно извинялась, что ей приходится рассказывать о столь трагических вещах.

— Я не сумасшедшая, не пугайтесь, и не сумасбродная старуха. Когда я говорю, что Роза — так звали мою служанку — умерла вместо меня, я почти уверена, что не ошибаюсь. Позвольте мне в нескольких словах рассказать о том, что произошло.

— Прошу вас.

— Я плохо сплю и вот уже двадцать лет каждый вечер принимаю снотворное — довольно горькую микстуру с сильным привкусом аниса. Я говорю об этом со знанием дела, так как мой муж был фармацевтом.

В воскресенье перед сном, как и в другие вечера, я налила снотворное в стакан. Роза была подле меня, когда я уже лежала в постели, собиралась выпить лекарство. Отпила глоток, и мне показалось, что на этот раз оно горчит больше обычного.

«Наверно, я налила больше двенадцати капель, Роза. Сегодня я не стану его пить». «Спокойной ночи, мадам»,— сказала она и, как обычно, унесла стакан. Как знать, она только попробовала его из любопытства или выпила до дна? Вероятнее всего последнее: пустой стакан нашли в ее комнате.

Около двух часов ночи меня разбудили стоны, мой дом невелик. Я поднялась и, выйдя из спальни, встретила свою дочь, которая тоже была на ногах...

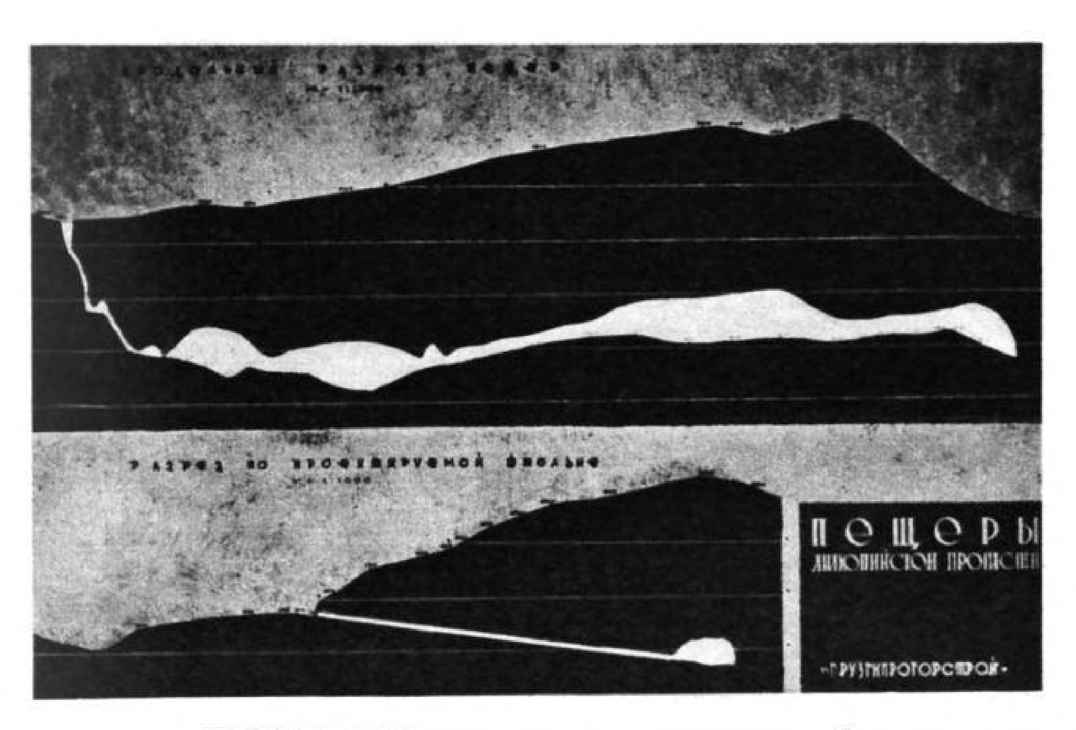
— Я полагал, что вы живете только со служанкой?

— В то воскресенье, третьего сентября, был день моего рождения, и дочь, приехавшая из Парижа навестить меня, осталась переночевать.

Не стану отнимать у вас время, господин комиссар. Розу мы нашли при смерти в ее постели. Моя дочь бросилась вызывать доктора Жолли, но, когда он приехал, Роза уже умерла после обычных в подобных случаях судорог. Врач, не колеблясь, определил, что она отравлена мышьяком.

Она была не из тех девушек, которые кончают с собой, ела она то же, что и мы. Стало быть, яд почти наверняка находился в предназначавшемся мне лекарстве...

— Вы подозреваете кого-нибудь в попытке убить вас?
— Кого я могу подозревать? Доктор Жолли, мой давний друг, лечивший еще моего мужа, позвонил в полицию Гавра, и в понедельник утром к нам прибыл инспектор.
— Как его зовут?
— Инспектор Кастэн. Краснощекий мужчина, брюнет.
— Я знаю его. Что же он говорит?
— Ничего. Опрашивает местных жителей. Тело же отправили в Гавр для вскрытия...
Ее прервал телефонный звонок. Мегрэ взял трубку. Звонил директор сыскной полиции.
— Поднимитесь ко мне на минутку, Мегрэ!
— Сейчас?
— Да. Если можно.
Он извинился перед старой дамой: его вызывает шеф.
— Вас не соблазнила бы перспектива провести несколько дней на море? — спросил Мегрэ директор.
Мегрэ ответил наугад:
— В Этрета?
— Вы уже в курсе?
— Не знаю. Расскажите подробнее.
— Только что мне позвонили из канцелярии министра. Вы знаете Шарля Бессона?
— Крем «Жюва»?
— Не совсем так. Это его сын. Шарль Бессон живет в Фекане. Два года назад был избран депутатом от Нижней Сены.
— А мать его живет в Этрета?
— Не мать, а мачеха, она вторая жена его отца. Учтите, все то, о чем я вам говорю, мне только что сообщено по телефону. Шарль Бессон обратился к министру с просьбой, чтобы вы, хотя это и не входит в ваши служебные обязанности, согласились заняться одним делом в Этрета.
— Служанка его мачехи была отравлена в ночь с воскресенья на понедельник.
— Вы что, читаете нормандские газеты?
— Нет. Старая дама у меня в кабинете.
— И она тоже хочет, чтобы вы поехали в Этрета?
— Совершенно верно. Она специально приехала ко мне, из чего, пожалуй, можно заключить, что пасынок обратился к министру без ее ведома.
— Что же вы решили?
— Это зависит от вас, патрон...
Вот почему в среду утром, чуть позже половины десятого, Мегрэ сел наконец в местный поезд на станции Бреотэ-Бёзвилль, в тот самый поезд, который казался ему игрушечным, и сразу высунулся в окошко, чтобы быстрее увидеть море.
По мере того как оно приближалось, небо светлело, и, когда поезд вынырнул из лощины между поросшими травой холмами, небо оказалось чистым, лишь несколько легких, прозрачных облачков висело в его голубизне.
Накануне Мегрэ позвонил в оперативную группу Гавра, чтобы там предупредили инспектора Кастэна о его приезде, но сейчас, на вокзале, он тщетно пытался отыскать его на платформе. Встречавшие кого-то женщины в летних платьях и полуголые детишки оживляли перрон. Начальник станции, нерешительно оглядывавший прибывших, подошел наконец к комиссару.
— Вы случайно не комиссар Мегрэ?
— Случайно — да.
— У меня к вам письмо.
Он передал Мегрэ конверт. Инспектор Кастэн писал:
«Прошу прощения, что не встретил Вас. Сейчас я на похоронах в Ипоре. Рекомендую Вам остановиться в «Английской гостинице», где я надеюсь с Вами позавтракать. Там же я введу Вас в курс дела».
Было всего десять часов утра, и Мегрэ, прихвативший в дорогу лишь легкий чемодан, направился пешком к отелю, расположенному у самого пляжа.
Но, не заходя в отель, прямо с чемоданом, он пошел взглянуть на море, полюбоваться белыми скалами, возвышавшимися по обе стороны пляжа, усеянного галькой. Юноши, девушки резвились в волнах, другие играли в теннис за отелем, мамаши удобно устроились с вязаньем в шезлонгах, старички попарно прогуливались вдоль берега.
Еще школьником он помнил, как его сверстники каждый год возвращались с моря загорелыми, напичканными всевозможными историями, с карманами, полными ракушек. Сам же он впервые увидел море много позже, когда давно уже зарабатывал себе на жизнь.
Ему стало чуть грустно оттого, что он не испытывает больше знакомого волнения и уже равнодушно смотрит и на сверкающие гребешки, и на лодку, зарывающуюся в высокую волну, и на инструктора плавания с голыми татуированными руками.
Запах отеля был настолько знакомым, что вдруг ему стало недоставать мадам Мегрэ: ведь этот запах они обычно вдыхали вместе.
— Вы надолго к нам? — спросили его в отеле.
— Еще не знаю.
— Я потому спрашиваю, что пятнадцатого сентября мы закрываемся, а сегодня уже шестое.
Да, все здесь закроется, как в театре: и киоски с сувенирами и кондитерские; на окнах появятся ставни, только море и чайки будут хозяйничать на пустынном берегу.
— Вы знаете мадам Бессон? — спросил он у администратора отеля.
— Валентину? Конечно, знаю. Она из этих мест, здесь родилась, здесь рыбачил ее отец. Я не знавал ее ребенком, она старше меня, но хорошо помню, как она работала продавщицей в кондитерской сестер Сёрэ. Одна из сестер умерла, другая еще жива, ей девяносто два года, она соседка Валентины. Это ее сад обнесен голубым забором. Заполните, пожалуйста, карточку для приезжих.
Прочтя карточку, администратор, — а может, это был сам хозяин — посмотрел на Мегрэ с нескрываемым интересом.
— Вы тот самый Мегрэ, из полиции? Специально ради этого дела приехали из Парижа?
— Инспектор Кастэн здесь остановился?
— Как вам сказать... Он с понедельника почти ежедневно обедает у нас, но каждый вечер возвращается в Гавр.
— Я жду его.
— Он на похоронах, в Ипоре.
— Да. Знаю.
— Вы полагаете, что кто-то на самом деле пытался отравить Валентину?
— Я еще не успел узнать ничего определенного.
— Это могли сделать только ее родственники.
— Вы имеете в виду ее дочь?
— Я никого не имею в виду и ничего не знаю. Но в прошлое воскресенье в доме Валентины — она называет его «Гнездышком» — было много родственников. И я не представляю, кто бы из местных мог быть зол на Валентину. Столько добра сделала эта женщина при жизни мужа, когда у нее были средства! И даже сейчас она все раздает, хотя далеко не так богата. Мерзкая это история, поверьте мне. Этрета всегда был спокойным местом. Сюда приезжают люди определенного круга, обычно семьями, я мог бы назвать вам...
Мегрэ предпочел пройтись по залитым солнцем улицам. На площади перед мэрией он прочел надпись над белой витриной: «Кондитерская Морэн — бывшее заведение Сёрэ».
У продавца он спросил, как пройти к «Гнездышку». Ему указали дорогу, извивающуюся по отлогому склону холма, у подножия которого несколько вилл утопало в садах. Он постоял в некотором отдалении от скрытого зеленью дома, из трубы которого медленно поднимался дымок и таял в бледной синеве неба.
Когда он вернулся в отель, инспектор Кастэн был уже там. Его маленькая черная «симка» стояла у подъезда, а сам он ждал на лестнице.
— Хорошо доехали, господин комиссар? Очень сожалею, что не смог встретить вас на вокзале. Я решил, что небесполезно побывать на этих похоронах. Судя по всему, таков и ваш метод.
— И что же там было?
Они зашагали вдоль берега.
— Не знаю, что и сказать. Прошли похороны скорее плохо. Обстановка была напряженной. Тело девушки привезли из Гавра сегодня утром, и родные прямо со станции отвезли ее на грузовике в Ипор. Семейство Трошю! Вы еще услышите о них. Здесь полно этих Трошю, и почти все они рыбаки. Отец долгое время ловил сельдь в Фекане, тем же заняты сейчас его два старших сына. Роза была старшей из дочерей. У них есть еще две или три дочери, одна из них живет в Гавре, работает в кафе.
У Кастэна были густые волосы, низкий лоб, он излагал свои мысли с такой упрямой медлительностью, словно тянул на себе плуг.
— В Гавре я уже шесть лет и исколесил всю округу. В здешних деревнях, особенно вблизи старых замков, встречаются еще смиренные люди, которые почтительно вспоминают своего барина. Есть и другие, более грубые, недоверчивые, иногда злобные. Я еще не знаю, к каким из них отнести Трошю, но сегодня на похоронах Валентину Бессон встретили холодно, почти враждебно.
— Меня только что убеждали, что она всеобщая любимица в Этрета.
— Но Ипор не Этрета. И Роза мертва.
— Значит, старуха была на похоронах?
— Как же, в первом ряду. Кое-кто называет ее помещицей, возможно, потому, что у нее был когда-то замок где-то в Орне или в Салоне, уж не знаю точно. Вы видели ее?
— Она приезжала ко мне в Париж.
— Она говорила мне, что собирается в Париж, но я не знал, что она ездила к вам. Что вы можете сказать о ней?
— Пока ничего.
— Она была колоссально богата. Много лет у нее был в Париже свой особняк на авеню Иены, собственный замок, собственная яхта. А «Гнездышко» — это так, пристанище на всякий случай.
Она приезжала сюда в большом лимузине с шофером, а сзади следовал другой автомобиль, с багажом. Все глазели на нее по воскресеньям, когда она отстаивала мессу в первом ряду (в церкви у нее всегда была своя скамья) и потом щедро раздавала милостыню. Если комунибудь приходилось туго, ему обычно советовали: «Ступай к Валентине». Многие, особенно среди пожилых, так и называли ее, по имени.
Сегодня утром она приехала в Ипор в такси и вышла из машины торжественно, как в прежние времена. Казалось, что это именно она руководит церемонией похорон. Ее огромный венок, конечно, затмил все остальные.
Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что Трошю были раздражены и поглядывали на нее искоса. Она сочла своим долгом со всеми поздороваться за руку. Отец не глядя, весьма неохотно протянул ей свою. А старший сын Анри просто повернулся к ней спиной.
— Дочь мадам Бессон была с ней?
— В понедельник после обеда она возвратилась поездом в Париж. Я не вправе был удерживать ее. Должно быть, вы заметили, что я еще не совсем разобрался в этом деле? Однако я считаю, что необходимо снова ее допросить.
— Как она выглядит?
— Должно быть, мать выглядела так в ее возрасте, то есть в тридцать восемь лет. На вид дочери не дашь больше двадцати пяти. Миниатюрная, изящная, очень миловидная, с огромными, по-детски ясными глазами. А между тем какой-то мужчина — однако не ее муж — провел ночь с воскресенья на понедельник у нее в спальне, в «Гнездышке».
— Она вам об этом сказала?
— Нет. Это я обнаружил сам, но слишком поздно, чтобы расспросить у нее о деталях. Пожалуй, стоит рассказать вам все по порядку. Дело это намного сложней, чем кажется с первого взгляда. Я кое-что записывал. Вы позволите?
Он вытащил из кармана роскошную записную книжку в красном кожаном переплете, совсем непохожую на дешевенькие блокноты, которыми обычно пользовался Мегрэ.
— В Гавре нас известили в понедельник, в семь утра, а в восемь, придя на работу, я обнаружил на столе записку. Я сел в «симку» и примерно к девяти был уже здесь. Шарль Бессон приехал на своей машине чуть раньше меня.
— Он живет в Фекане?
— Да, там у него дом, его семья живет там круглый год. Но с тех пор, как его выбрали депутатом, часть времени он проводит в Париже, где снимает квартиру в гостинице на бульваре Распай. Все воскресенье он провел здесь, с семьей, то есть с женой и четырьмя детьми.
— Он ведь не сын Валентины?
— У Валентины нет сыновей, только одна дочь Арлетта, та, о которой я вам рассказывал. Она замужем за парижским дантистом.
— Муж ее тоже был здесь в воскресенье?
— Нет. Арлетта приезжала одна. Был день рождения ее матери. У них, кажется, в семье обычай навещать ее в этот день. Когда я спросил у Арлетты, каким поездом она приехала, она ответила, что утренним, то есть тем же, что и вы сегодня.
Но вы сейчас убедитесь, что она солгала! В понедельник, как только труп был отправлен в Гавр, я сразу же осмотрел все комнаты в доме. Работа не из легких. Дом хотя и невелик, но обставлен со вкусом, в нем масса всяких закоулков, хрупкой мебели и безделушек.
Комнаты Валентины и служанки — на втором этаже, а на первом есть только комната для гостей, в ней-то и останавливалась Арлетта. Передвигая тумбочку, я обнаружил мужской носовой платок, и мне показалось, что Арлетта, наблюдавшая за мной, вдруг сильно встревожилась. Она живо выхватила платок у меня из рук. «Надо же! Я увезла платок мужа».
К сожалению, я только вечером вспомнил о вышитой на платке букве «Э». Арлетта уехала. Я отвез ее на вокзал в своей машине и видел, как она купила билет в кассе.
Сам знаю, что это глупо, но только в машине я вдруг сообразил: почему же, уезжая из Парижа, она не взяла обратный билет? Возвратившись в зал ожидания, я стал расспрашивать контролера.
«Эта дама приехала в воскресенье десятичасовым поездом, не так ли?» «Какая дама?» «Та, которую я только что проводил». «Мадам Арлетта? Нет, мосье». «Разве она приехала не в воскресенье?» «Возможно, она приехала и в воскресенье, но только не поездом. Я проверял билеты и, конечно, узнал бы ее».
Кастэн посмотрел на Мегрэ с некоторым беспокойством.
— Вы меня слушаете?
— Да, конечно.
— Может быть, я рассказываю слишком подробно?
— Да нет же. Просто мне надо привыкнуть ко всему этому.
— К чему?
— Ко всему: к вокзалу, к Валентине, Арлетте, контролеру, Трошю. Ведь еще вчера я ничего не знал обо всем этом.
— Вернувшись в «Гнездышко», я спросил у старой дамы имя ее зятя. Оказывается, его зовут Жюльен Сюдр. Ни имя, ни фамилия не начинаются с буквы «Э». Приемных сыновей мадам Бессон зовут Тео и Шарль. Правда, садовника, приходящего на виллу трижды в неделю, зовут Эдгар, но, во-первых, его не было в воскресенье, а во-вторых, меня уверили, что у него никогда не было больших носовых платков с красной каймой.
Не зная, с чего начать следствие, — продолжал Кастэн, — я принялся расспрашивать людей в городе. И таким образом от продавца газет узнал, что Арлетта приехала не поездом, а в роскошном спортивном автомобиле зеленого цвета. Это упрощало дело. Владелец зеленого автомобиля, оказывается, остановился в воскресенье вечером в отеле, который я вам рекомендовал.
Им оказался некий Эрве Пейро, который записал в карточке для приезжающих, что он виноторговец и живет в Париже на набережной Святых Августинцев.
— Ночь он провел не в отеле?
— Он проторчал в баре до закрытия, то есть почти до полуночи, а потом, вместо того чтобы отправиться спать, куда-то пошел пешком, сказав, что идет к морю. Ночной сторож говорит, что Пейро вернулся что-то около половины третьего ночи. Я говорил со слугой, который чистит обувь в отеле, и от него узнал, что на подметках ботинок этого Пейро налипла красная глина.
Во вторник утром, вернувшись в «Гнездышко», я обнаружил под окном у Арлетты следы на клумбе. Что вы скажете на это?
— Ничего.
— Ну, а что касается Тео Бессона...
— Он тоже был в доме?
— Но не ночью. Вам ведь известно, что братья Бессоны — дети от первого брака, и Ва-



ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРОПАСТЬ

В. КАДЖАЯ

Вход в пещеру, прозванный Бездонной ямой, прятался в овраге, в густом кустарнике. Летом по вечерам тут роились летучие мыши. Эти совершенно безобидные и забавные существа незаслуженно пользуются в народе дурной славой. Пожалуй, они-то отпугивали людей от Бездонной ямы больше всего.

Первыми в Анакопийскую пропасть спустились спелеологи Института географии имени Вахушти Багратиони. Сделанное ими описание произвело настоящую сенсацию: пещеры оказались экстра-класса. Плюс ко всему Анакопийская пропасть расположена в чрезвычайно удобном месте — в Новом Афоне, в получасе ходьбы от Иверской горы. Было решено организовать большую экспедицию, чтобы произвести детальное обследование пещер и заснять рекламный фильм. Через два или три года сюда валом повалят туристы. Им будет совсем нетрудно туда попасть, потому что к тому времени построят тоннель в самый центр подземелья. Здесь будут проложены пластмассовые мостики и дорожки, подсветка цветными прожекторами превратит пещеры в настоящую сокровищницу Аладина. Но пока нет ни тоннеля, ни прожекторов, и путь в пещеры никак не назовешь легкой туристической прогулкой.

Нас пятнадцать человек. Все пятнадцать должны спуститься вниз. Двое уже на дне пропасти, трое еще наверху, на поверхности земли, остальные разбросаны где-то по всей длине Бездонной ямы. Это совершенно отвесный, черный колодец. Этакая дырка в земле. Впрочем, колодцем Бездонная яма кажется лишь с первого взгляда. На самом деле она больше напоминает гигантский дымоход, каждое «колено» которого тянется метров на тридцать — сорок. Спуск начался в десять утра. Сейчас уже около пяти. Тоже утра. Сутки на веревках. Пятнадцать человек и две тонны груза. И все это в кромешном мраке. Фонари не зажигаем: впереди еще целая неделя, свет надо экономить.

В нашей группе четыре спелеолога. Остальные десять — новички: два архитектора, инженер-топограф, инженер-маркшейдер и кинодокументалисты.

— Зураб, готов? — кричит Ладо Калдани. Он страхует свое колено.

— Давай! — отвечает Зураб Тинтилозов. Голос звучит глухо, как в бочке. Ладо и Зураб — опытные спелеологи. В Анакопийской пропасти чувствуют себя как дома.

Ладо предупреждает меня:

— Дальше начинается отвес и колодец. Касаться ногами стен не сможешь.

Действительно, метров пять спускаюсь, как обычно, упираясь ногами в стены, а потом вдруг беспомощно повисаю в воздухе. От неожиданности резко торможу. Медленно прихожу в себя и соображаю наконец, что же произошло. Просто-напросто колодец расширился, и веревка проходит где-то в самом центре его. Ничего страшного. Поглядываю вниз. Там, на самом дне, мерцают огоньки шахтерок. Господи, до чего же они далеко! Метров 80, не меньше! На самом же деле длина шахты всего 45 метров. Я стал жертвой оптического обмана: в этом мраке расстояния кажутся обманчиво большими...

Сутки пролетели, словно их смахнули платком. Потом еще шесть часов — и мы под землей. Наш бивак находится у подножия Белой горы — гигантского сталагмита. Это настоящий холм высотой около 14 метров. На гипсовой площадке — белой и чистой, как госпитальная простыня,— в абсолютном беспорядке разбросаны спальные мешки. На мешках — утомленные до предела участники экспедиции. Я взглянул на часы. Ровно восемь. Но восемь чего? Утра, вечера? Делаю подсчет. Оказывается, вечера. Вот так приходится определять день и ночь, арифметически. Впрочем, день — это сказано совершенно условно. Под землей нет ни дня, ни ночи. Время здесь не имеет внешних примет. Здесь всегда мрак.

Я нигде больше не встречал такого мрака, как под землей. Это мрак живой, его можно пощупать рукой. Луч фонаря теряется в его вязкой черноте. Пятнышко света на фоне громадных стен, потонувших в темноте, кажется призрачной игрой воображения, галлюцинацией. Тишину нарушает лишь журчание ручья. Стекая в воронки, вода издает таинственные, мелодичные звуки.

Анакопийская пропасть совершенно исключительна. Здесь семь залов, и каждый по-своему неповторим. «Зал грузинских спелеологов» покоряет размерами — в него можно упрятать, как в футляр, московский стадион «Динамо».

«Храм» — один из самых высоких подземных залов в мире, его высота колеблется где-то в пределах 70 метров. Он напоминает заброшенную церковь. Тишина, таинственность. Тут есть свой «алтарь» — зал «Фантазия», приютившийся на высоте около 40 метров. В нем я впервые увидел редкие сталагмиты, удивительно напоминающие китайские пагоды. Тысячелетние натеки известковой воды образовали кристаллы причудливой формы.

Добраться до «пагод» довольно сложно. Особенно тяжел отрезок пути, заваленный гуано. Видимо, здесь когда-то гнездилась большая колония летучих мышей. Правда, мышей мы не встретили.

«Зал гелектитов» — жемчужина Анакопии. Это вовсе и не зал, его не сравнить с гигантом «Храмом», это просто небольшой грот, словно созданный воображением Шехерезады. Стены сплошь покрыты тонкими кристаллическими образованиями, имеющими вид заиндевевших сосновых веточек, а потолок похож на опрокинутый кронами вниз, запорошенный инеем лилипутский лес. Эта странная волшебная растительность кое-где цепляется к толстым сосулькам сталактитов, покрывая их сверкающими султанчиками. Изумительно красив пол: кажется, что грот устлан белой парчой, инкрустированной бриллиантами. Кристаллы, вкрапленные в гипс, переливаются миллионами огоньков.

...Как хорошо сидеть вот так, расслабив все мышцы, и ни о чем не думать! Лагерь тихо гудит. Что-то рассказывает Ладо, и время от времени слышится его смех. Около него возится с рюкзаком Энрико Гермесашвили, кинооператор, и что-то насвистывает. Пошел за водой дежурный. Своим движением он всколыхнул воздух, и пламя свечи испуганно затрепетало. По стене побежали огромные неясные тени. Каким жалким кажется огонек в этом царстве вечной ночи, каким маленьким выглядит человек перед этими страшными тенями! Но огонек горит, и перед ним отступает мрак. А тень — это же моя тень. И какой бы великой она ни была, она все-таки моя тень, и без меня она нуль.

— О чем ты думаешь? — спрашивает меня Энрико.

— Да так, даже и не знаю.

— Я сегодня здорово устал,— говорит Энрико.— Сегодня был тяжелый день.

— Зато ты снял «Храм». Это будет гвоздем твоего фильма.

— Да, «Храм» — это, конечно, сказка. А ты представляешь, года через три что здесь будет? Каждый день — четыреста туристов.

Подошло время возвращаться

лентина не их мать. Я записал всю родословную семьи и, если хотите...

— Только не сейчас. Я голоден.

— Короче, Тео Бессон — холостяк, ему сорок восемь лет. Уже две недели, как он отдыхает в Этрета.

— У мачехи?

— Нет. Они не встречаются. Мне кажется, они в ссоре. Он снял комнату в отеле «Белые скалы», который виден отсюда.

— Значит, он не был на вилле?

— Погодите, дело в том, что Шарль Бессон...

Бедняга Кастэн вздохнул, отчаявшись толково изложить дело. Особенно его смущало то, что Мегрэ, казалось, совсем его не слушает.

— В воскресенье утром Шарль Бессон приехал в одиннадцать часов вместе с женой и четырьмя детьми. У них свой автомобиль, огромный «панар» старого образца. Арлетта приехала до них. Они все вместе позавтракали в «Гнездышке». Затем Шарль Бессон отправился на пляж со старшими детьми: мальчиком пятнадцати лет и девочкой двенадцати. А в это время дамы болтали.

— Он встретился с братом?

— Совершенно верно. Подозреваю, что Шарль Бессон затеял эту прогулку, чтобы опрокинуть стаканчик в баре казино. По слухам, он не дурак выпить. Там он и повстречал Тео, о присутствии которого в Этрета не подозревал, и настоял, чтобы Тео пришел с ним в «Гнездышко». Тео в конце концов дал себя убедить. Итак, за обедом семейство было в полном сборе. Обед был холодный — лангусты и жареная баранина.

— Обед никому не повредил?

— Нет. Кроме членов семьи, в доме была лишь служанка. Шарль Бессон уехал в половине десятого. Его пятилетний сын Клод проспал все это время в комнате хозяйки, а когда все уже садились в машину, заплакал их шестимесячный младенец, и ему пришлось дать соску.

— Как зовут жену Шарля Бессона?

— Кажется, Эмильенна. Хотя все зовут ее Мими.

— Мими,— с серьезным видом повторил Мегрэ, как будто заучивал наизусть урок.

— Полная брюнетка лет сорока.

— Полная брюнетка? Так-так. Значит, они уехали около десяти?

— Совершенно верно. Тео задержался на несколько минут. И затем, кроме трех женщин, в доме никого уже не оставалось.

— Валентина, ее дочь Арлетта и Роза?

— Совершенно верно. Роза мыла посуду на кухне, а мать и дочь болтали в гостиной.

— Все комнаты на втором этаже?

— Кроме комнаты для гостей, как я вам уже объяснял. Она на первом этаже, окна выходят в сад. Вы увидите «Гнездышко» — настоящий кукольный домик, с крошечными комнатами.

— Арлетта не поднималась в комнату к матери?

— Около десяти часов они вместе прошли туда: старой даме захотелось похвастаться перед дочерью новым платьем.

— Спустились они вместе?

— Да. Затем Валентина снова поднялась к себе — укладываться спать. Через несколько минут за ней прошла Роза. Она обычно помогала хозяйке лечь в постель и подавала ей снотворное.

— Она же его и готовила?

— Нет. Валентина заранее закапывает лекарство в стакан с водой.

— Арлетта больше не поднималась?

— Нет. И в половине двенадцатого Роза тоже легла спать.

— А около двух часов она начала стонать?

— Это время называют Арлетта и ее мать.

— И, значит, по-вашему, между полуночью и двумя часами в комнате Арлетты находился мужчина, с которым она приехала из Парижа? А вам неизвестно, чем занимался Тео этой ночью?

— До сих пор у меня не было времени выяснить это, и, признаюсь, мне даже и мысль такая не приходила.

— Что ж, пойдем завтракать.

— С удовольствием.

— А здесь можно заказать ракушки в соусе?

— Думаю, можно. Хотя не уверен. Я только знакомлюсь с меню.

— Сегодня утром вы побывали в доме родителей Розы?

— Только в первой комнате, где стоял гроб.

— Нет ли у них ее хорошей фотографии?

— Могу спросить.

— Сделайте это. Возьмите все фотографии, какие только сможете найти, даже детские, всех возрастов. Кстати, сколько ей было лет?

— Двадцать два или двадцать три. Рапорт составлял не я, и...

— Она, кажется, давно служила у старой дамы?

— Семь лет. К Валентине она поступила совсем молоденькой, еще при жизни Фернана Бессона. Плотная, румяная девица, с пышным бюстом...

— Она никогда не болела?

— Доктор Жолли ничего об этом не говорил. Думаю, что он сказал бы мне.

— Хотелось бы знать, были у Розы поклонники или, может быть, любовник?

— Я тоже подумал об этом. Как будто нет. Она была очень серьезной девушкой и редко выходила из дому.

— Может быть, ее не отпускали?

— Я не совсем уверен, но похоже, что Валентина строго следила за ней и неохотно давала выходные.



У входа в зал «Тбилиси».

наверх. Все очень устали. Восемь суток под землей — это все-таки утомительно. Особенно если все восемь дней работать без отдыха, на всю катушку. Кроме того, у нас кончились продукты. Колбасу, картошку и мясные консервы мы съели и последние два дня доедали то, что не поели в первые шесть,— сайру и шоколад. В отдельности и то и другое бывает очень вкусно, но вместе... В общем, нам хотелось есть. Джемал Грикуров, наш светотехник, большой балагур, с печалью в голосе жаловался:

— Какой у меня был хороший живот — большой, красивый! А сейчас?

Хотелось курить. Сигареты тоже кончились. Хотелось принять горячий душ и выспаться в сухой, чистой постели. Наконец приказ: «Готовиться к подъему!»

Мы крикнули «Ура!» и стали дружно укладываться.

На верхнюю площадку мы выбрались перед самым рассветом. Отсюда был виден кусочек неба — синий-синий, усеянный яркими звездами. Потом небо стало светлеть, звезды погасли, а может, просто растаяли. Наступал день. Настоящий день.

У Бездонной ямы нас ждала толпа. Пришли окрестные жители, курортники. Мы вылезали по одному — грязные, как черти, бородатые и, наверное, на вид немного ненормальные. Одним словом, подземные духи.

Все это время они гуляли вдоль берега. Мегрэ не сводил глаз с моря, но словно даже не замечал его. Все было кончено. Утром в Бреотэ-Бёзвилле он еще испытал приятное волнение. Игрушечный поезд напомнил ему о прежних каникулах. А сейчас он уже не замечал цветных купальников женщин, ребят, растянувшихся на гальке, не ощущал йодистого запаха водорослей. Лишь мельком осведомился, будут ли к обеду ракушки в соусе. Голова его была заполнена новыми именами, которые он пытался разместить в своей памяти так, как сделал бы это в своем кабинете на набережной Орфевр. Вместе с Кастэном он уселся за стол, накрытый белой скатертью, на котором в узкой вазе поддельного хрусталя стояли гладиолусы.

Может быть, это признак старости? Он повернул голову к окну, чтоб еще раз увидеть белые барашки на море, и его огорчило, что он снова не почувствовал никакого душевного трепета.

— Много было народу на похоронах?

— О, там был весь Ипор, не считая приехавших из Этрета и таких местечек, как Лож, Вокотт; были и рыбаки из Фекана.

Ему припомнились деревенские похороны, даже показалось, что он вдыхает запах кальвадоса. И он спросил с самым серьезным видом:

— Наверно, мужчины напьются сегодня вечером?

— Весьма возможно,— согласился Кастэн, слегка удивленный ходом мыслей прославленного комиссара.

Ракушек в меню не оказалось, на закуску они заказали сардины в масле и сельдерей под острым соусом.

Продолжение следует.

ИСТОРИЯ НА КОЛЕСАХ

Фото Л. Бородулина.

Удивительно выглядели улицы столицы в минувшее воскресенье. К центру города из разных районов стекались колонны автомашин. И люди, которые давно перестали замечать своего постоянного спутника — автомобиль, останавливались и подолгу смотрели на необычное зрелище. Мимо москвичей медленно катилась — иначе и не скажешь — вся история автомобилестроения. Первые, как их называли раньше, «безлошадные экипажи»: «бенц», «бебе-пежо», «руссобалт», советские «АМО-Ф-15», «ГАЗ-А», «КИМ-10», знаменитые «эмки» и полуторки совершили свой почетный рейс по улицам столицы.

Этот парад по праву возглавил рысак «Гиацинт», впряженный в экипаж XIX века. Кстати, в начале нашего столетия на всем земном шаре насчитывалось всего несколько тысяч машин. Ко времени легендарного каракумского пробега их уже было десятки миллионов. Специалисты подсчитали, что к первому января 1967 года число автомашин на планете возрастет до двухсот миллионов.

Многие из современных автомобилей прибыли на праздник прямо с уборки урожая. Необычайный парад «истории на колесах» завершился в Лужниках митингом участников праздника.



Хорошее отношение к лошадям...



«Антилопа-Гну» на столичных улицах.



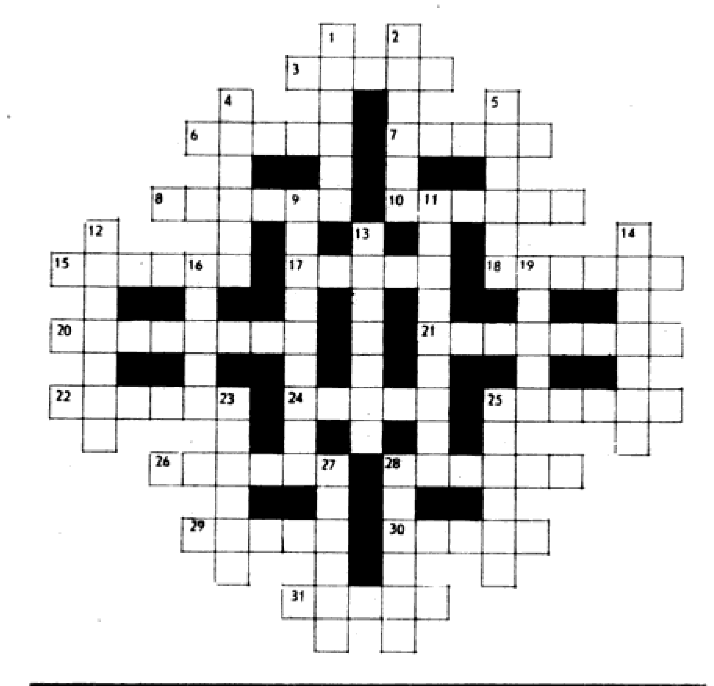
Старичка «бенца» пришлось взять на буксир.



← Дедушка...

Внук... ↓





КРОССВОРД

По горизонтали:

3. Резной камень. 6. Надстройка на палубе судна. 7. Музыкальный лад. 8. Водоплавающая птица. 10. Рассказ из «Записок охотника» И. С. Тургенева. 15. Штат в США. 17. Цвет краски, оттенок. 18. Горная порода, мелкие зерна корунда. 20. Остров в Индийском океане. 21. Часть фотоаппарата. 22. Песчаный холм. 24. Древнейшая грузоподъемная машина. 25. Английский астроном. 26. Станционное здание. 28. Мастерская художника, скульптора. 29. Французский писатель эпохи Возрождения. 30. Каспийская сельдь. 31. Принадлежность карнавального костюма.

По вертикали:

1. Народный поэт Дагестана. 2. Малая планета. 4. Порт в Болгарии. 5. Футляр для стрел. 9. Шахматный ход. 11. Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура. 12. Первый журнал пионеров нашей страны. 13. Стеклообразный слой на керамике. 14. Русский историк. 16. Залив Охотского моря. 19. Персонаж повести А. И. Герцена «Сорока-воровка». 23. Сахаристый сок медоноса. 25. Остаток при перегонке нефти. 27. Город в Латвийской ССР. 28. Действующее лицо оперы Дж. Пуччини «Чио-Чио-Сан».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 41

По горизонтали:

4. Виджаявада. 7. Тура. 10. Экспромт. 11. Яблочков. 12. Динамик. 14. Трап. 16. Гротеск. 17. Ньюфаундленд. 20. Эстрада. 21. Ашуг. 23. Якобсон. 26. Бистрица. 27. Алюминий. 28. Азов. 29. Вертишейка.

По вертикали:

1. Одетта. 2. Кяманча. 3. Сафьян. 5. Склифосовский. 6. Оправа. 8. Очиток. 9. Консерватория. 13. Корюшка. 14. «Тачанка». 15. Предлог. 16. Галерея. 18. Карета. 19. Бабуин. 22. Шебалин. 24. Фанера. 25. Гавайи.

На первой странице обложки: У входа в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

Фото Л. Шерстенникова.

На последней странице обложки: Осень в Алма-Ате.

Фото А. Бочинина.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.

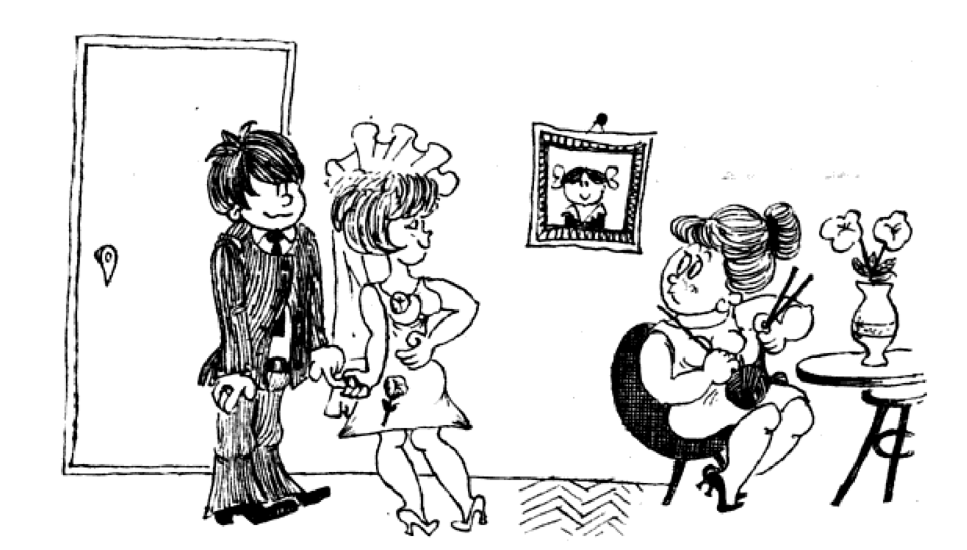
Редакционная коллегия: И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), И. Ф. СТАДНЮК (заместитель главного редактора), Л. Л. СТЕПАНОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются. **Оформление Л. ШУМАНА.**

Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-37-61; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 0-46-98; Литературы — Д 3-31-10; Информации — Д 3-32-45; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 0-14-70; Юмора — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-39-04; Оформления — Д 3-38-36; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 17510. Подписано к печати 12/X 1966 г. Формат бум. 70×108¹/₈. 2,5 бум. л. Печ. л. 5,0. Усл. печ. л. 7,0. Тираж 1 990 000. Изд. № 1931. Заказ № 2742.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



— Знакомься, мама, это мой первый муж!



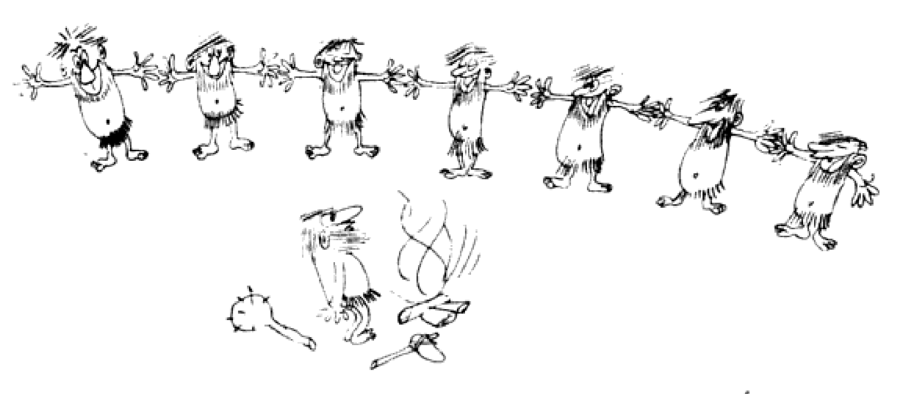
— Надо же научить ребенка ходить!

Рисунки В. Тильмана.



— Вот, здесь...

Рисунок А. Грунина.

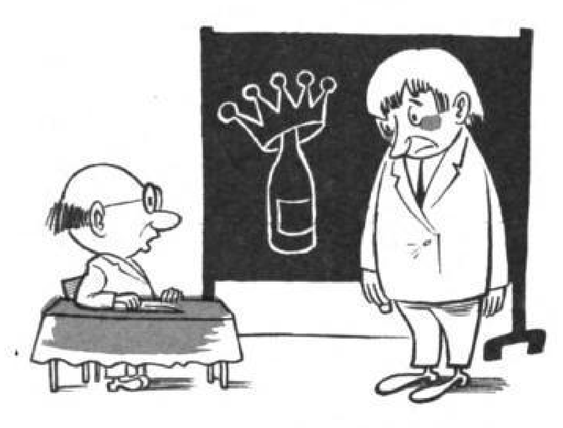


— Вот такого мамонта убили!..

Рисунок О. Корнева и Н. Станиловского.

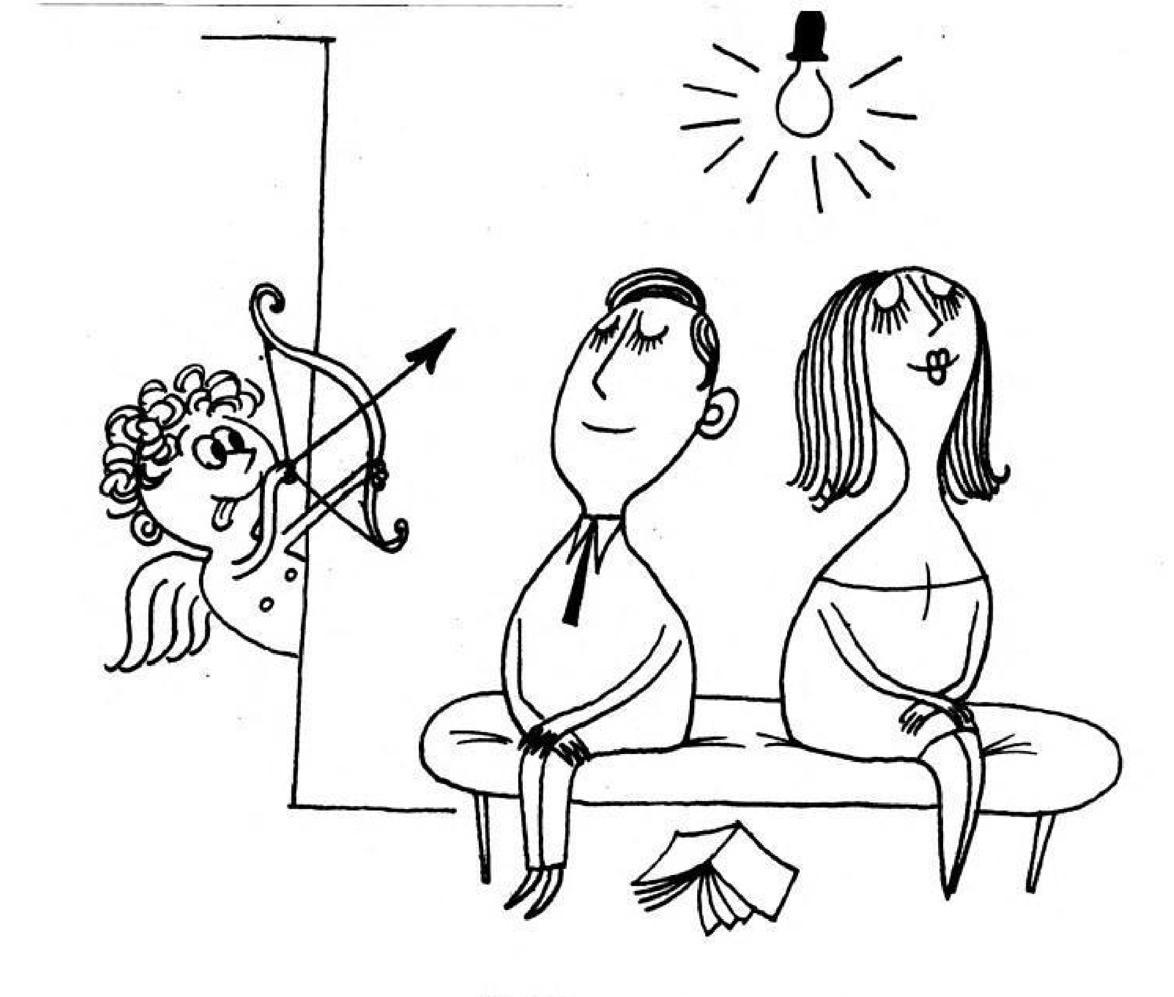


— Бедненький, даже во сне о производстве печется!



— И это, по-вашему, формула «царской водки»?

Рисунки П. Гейвандова.



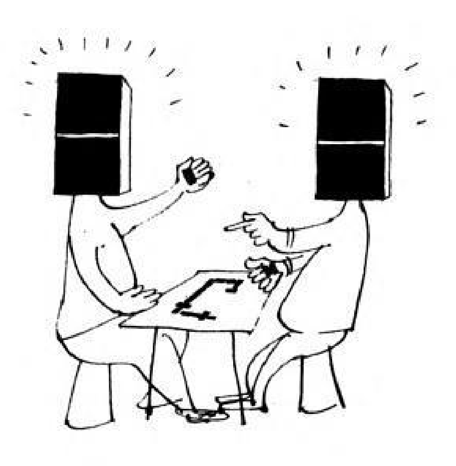
Без слов.

Рисунок В. Шкарбана.



— Алло! Я решил тебя предупредить, что на охоту сегодня не поеду...

Рисунок А. Грунина.



— Пусто-пусто!



— Смотри, удрал. Говорила же, рано ему дарить детский столярный инструмент!

Рисунки В. Воеводина.

Семейный экипаж.

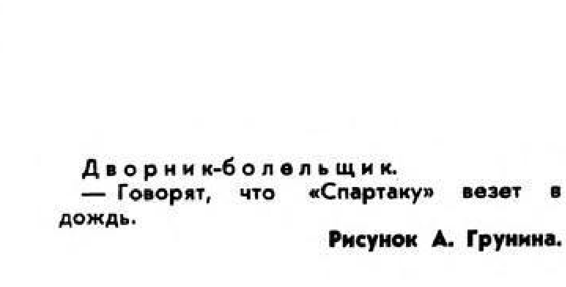
Рисунок Ю. Черепанова.





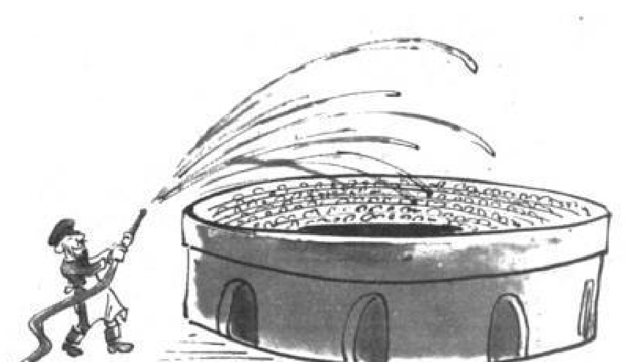
— ?..
— Это от частой смены мест работы.

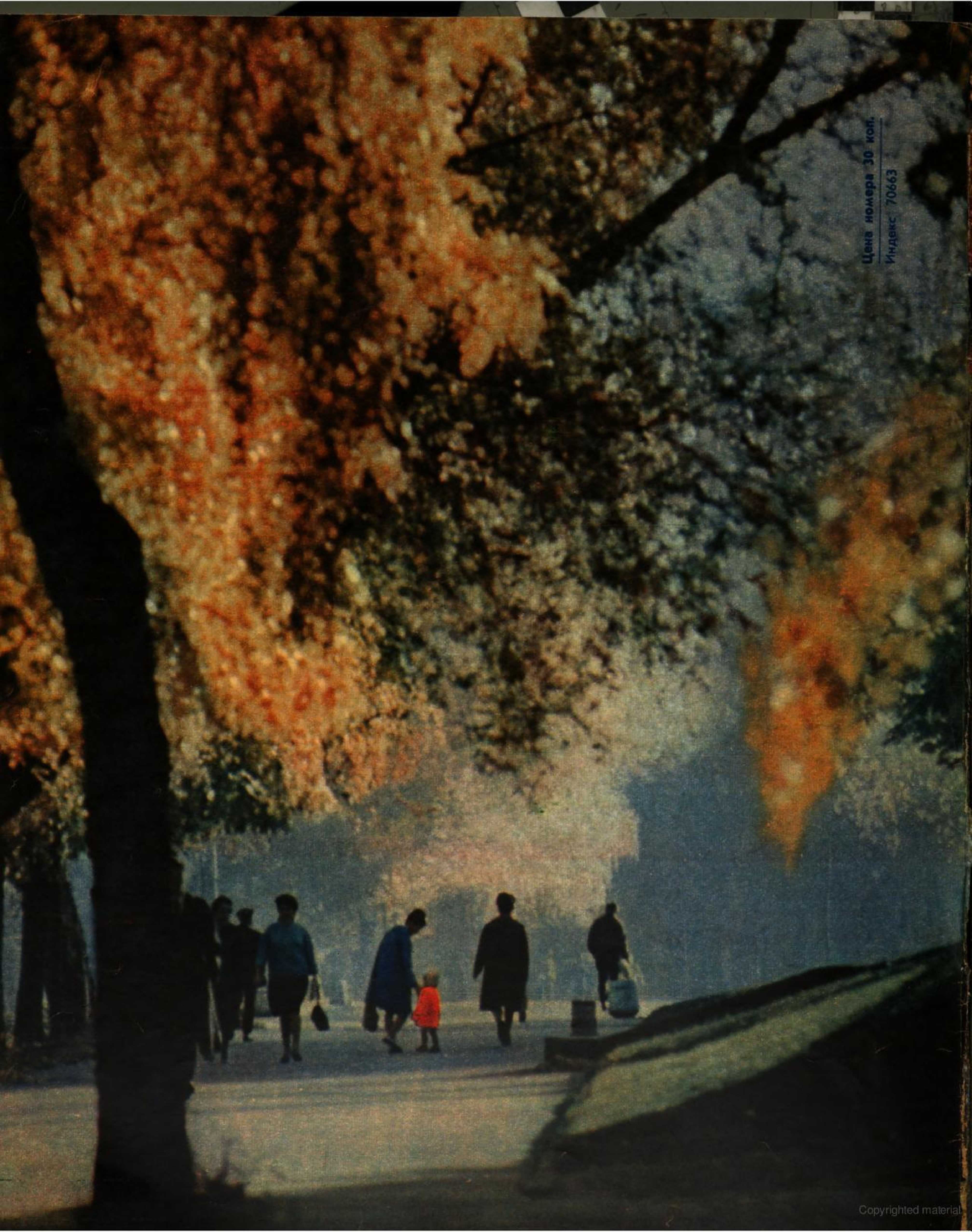
Рисунок В. Волкова.



Дворник-болельщик.
— Говорят, что «Спартаку» везет в дождь.

Рисунок А. Грунина.




Цена номера 30 коп.
Индекс 70663